Софія Зайцева

У ПОРОГА В МІР

Шанхай — 1947



АВТОР В КИСЛОВОДСКѢ

с одной из своих теток

СОФІЯ ЗАЙЦЕВА

У ПОРОГА В МІР

ВТОРОЕ (ПОСМЕРТНОЕ)
ИЗДАНІЕ

ШАНХАЙ — 1947

ОТ АВТОРА

В 1937 году вышла в Харбинѣ моя книга «Дѣтскими глазами на міръ» — повѣсть из жизни петербургской дѣвочки. Изданіе это цѣликом разошлось на Западѣ и на Дальнем Востокѣ.

Была ли написана моя повѣсть только для дѣтей? Нѣт. И читатели и критика отмѣчали, что — несмотря на простую и легкую для чтенія форму письма, доступную и дѣтям, несмотря на описаніе совсѣм незамысловатых событій из дѣтской жизни, дѣтскими же глазами увидѣнных и воспринятых—она, по своей лирически-благодарной в отношеніи к прошлому настроенности, особенно доходчива до сердца взрослыхъ.

Выпускаемая теперь книга «У порога в міръ» является продолженіем первой. Я предпочла, однако, издать ее, как самостоятельную книгу, ограничиваясь упоминаніем о событіях из ранней жизни только там, гдѣ нужна эта связь с прошлым по ходу послѣдующих событій или по внутренней логикѣ вещей.

Тѣ, кто ждали в первой книгѣ занимательных разсказов о развлеченіях и проказах дѣтства, должны были оставить ее с нѣкоторым недоумѣніем—вѣроятно, такіе читатели были. Другіе же с первых страниц поняли, что здѣсь рѣчь шла не о «фактах» а о безхитростном воспріятіи міра широко раскрытыми дѣтскими глазами и о поэтически-настороженном прислушиваніи к нему.

В этой же книгѣ, которую я озаглавила «У порога в міръ», любовное прислушиваніе уже перебивается трагически врываю-

щейся извнѣ новой стихіей, которая вскорѣ замутит теченіе жизни, лишит ее гармоніи и ритма, сдѣлает эту жизнь безпокойной, духовно оскудѣвшей, поэтически окраденной...

Памяти моего талантливаго, безгранично добраго, кроткаго мечтателя-отца, памяти моей труженицы-матери, воспитавшей нас, дѣтей, в близости к Церкви и к Богу, памяти русской гимназіи, русских педагогов, чуть-чуть сказочнаго Петербурга, памяти дѣтства и ранней юности, в которых зародились сѣмена истинной внутренней жизни — благодарно посвящаю я мою скромную книжку.

Декабрь 1941 года
Харбин

ОТ ИЗДАТЕЛЯ

Моей покойной женою была подготовлена к печати третья часть ея автобіографической повѣсти. Она увидѣла свѣт лищь послѣ ея кончины, послѣдовавшей в 1945 г. в Бей-Гуанѣ. Под заглавіем «Путь чрез мір» она была издана мною в самом концѣ 1946 года в Шанхаѣ. В 1947 г. вышла там же вторым изданіем первая часть повѣсти «Дѣтскими глазами на мір», с редакціонными поправками автора к изданію Харбинскому. С выходом настоящей части, воспроизводимой без всяких перемѣн с Харбинскаго изданія, вся трилогія оказывается доступной читателю...

Благодарю Бога, что Он сподобил меня, при помощи друзей покойной, исполнить это благое дѣло, столь лично для меня дорогое. Вѣрю, что доброе и одно лищь доброе сѣмя заронит чтеніе этих книг в душах читателей, как взрослых, так и юных.

СВЯЩЕННИК КИРИЛЛ ЗАЙЦЕВ.
Август 1947 г. Шанхай

ПО ГОЛОСУ СЕРДЦА

Девяти лѣт отроду мнѣ пришлось самой рѣшать трудный вопрос: гдѣ мнѣ учиться? В школѣ фрелейн Зидлер меня подготовили одинаково хорошо к первому классу Annenschule и к седьмому (вступительному) классу русской Казенной гимназіи, гдѣ учились мои сестры: Тамаринька и Лиза.

В полдень, во время большой перемѣны, я любила подолгу стоять в просторном полукруглом дворѣ Annenkirche. Краснощекія дѣвочки с туго заплетенными золотистыми косичками за спиной играли в мяч, а рослые, упитанные мальчуганы в коротких клѣтчатых штанах и высоких добротных, опрятно зашнурованных башмаках весело дрались, прыгали друг через друга, или отбивали у дѣвочек мячи.

— Halt! — звонко, четко выкрикивали они.

Нѣмецкій язык был мнѣ привычнѣе для игр, чѣм русскій. Я сразу же чувствовала себя как будто участницей этих нѣмецких игр, шуток, болтовни. И все-таки, было что-то другое,

затаенное, мнѣ самой не совсѣм понятное, отчего у меня тоскливо сжималось сердце, когда я с моей фрелейн, или с горничной заходила к трем часам в гимназію за сестрами.

Мы приходили рано, когда наверху еще шли уроки. Я прислонялась к деревянному заборчику, отдѣлявшему раздѣвальню от передней, гдѣ сидѣли няни, горничныя, гувернантки. Жадно разглядывала я ровные ряды вѣшалок, над которыми были прибиты доски с римскими цифрами, обозначавшими мѣста различных классов. Сѣденькія гимназическія нянюшки в темных платьях, в бѣлых передниках, с бѣлыми чепцами на головах уже поджидали звонка сверху. Каждая обходила свои вѣшалки, выравнивала линію калошек, торчавших снизу.

Иногда входил швейцар Федор Игнатьич, важный, с большими сѣдыми бакенбардами, с медалями на груди, деликатно прикрыв ладонью рот, зѣвал, посматривал на часы и опять уходил за стеклянную дверь к вѣшалкам учителей, учительниц, начальства и посѣтителей. Там, переминаясь с ноги на ногу, он заглядывал в пролет лѣстницы наверх, на площадку канцелярін: тоже ждал звонка.

Я стояла, как завороженная. И что-то тихо плакало в груди при мысли, что мнѣ не суждено придти сюда, вслѣд за сестрами, что меня ждут восемь долгих лѣт в обществѣ веселых, смѣлых, упитанных дѣтей из Annenschule. В

смущеніи водя ногой по деревянным столбикам рѣшетки, я посматривала иногда в большое стѣнное зеркало против передней. И мнѣ становилось неловко и чуть-чуть страшно за себя — худенькую, хрупкую, с неспокойным, неувѣренным лицом — среди толпы нѣмецких дѣтей, у которых, кажется, всегда все в жизни бывало благополучно!

Но вот раздавался наверху рѣзкій звонок, и сразу же хлопали двери, слышались шаги по пустынным, гулким коридорам, потом голоса, смѣх, возня, шиканье классных дам.

Веселая, торопливая, но стройная толпа катилась сверху до второго этажа. Здѣсь, у дверей канцеляріи все смолкало. А внизу, в раздѣвальной, уже всякая стройность гулов пропадала. Кучками вбѣгали дѣвочки в одинаково сшитых шерстяных коричневых платьях, в черных передниках. С шумом летѣли на пол сумки, ранцы, папки. Гдѣ-нибудь в сторонкѣ у окна начинался взволнованный, притушенный спор, с тревожной оглядкой на классную даму. В дальнем, темном уголкѣ кто-то плакал, обиженно надув губы, всхлипывая и пряча лицо в шубку на вѣшалкѣ или в башлык. Здѣсь, в русской гимназіи, жили «по - иному», совсѣм непохоже на то, как жили в Annenschule. И какая-то часть моей души не хотѣла сдаваться на здоровый, благополучный уют нѣмецких дѣтей, хотя рѣшеніе уже было принято...

За двѣ недѣли до экзаменов я сказала мамѣ, что хочу учиться в русской гимназіи. Мама попробовала мнѣ объяснить, что слабенькой впечатлительной дѣвочкѣ полезнѣе «закаляться» в нѣмецкой школѣ, говорила, что жалѣет моего знанія нѣмецкаго языка, которое в гимназіи не так уж нужно.

Я слушала маму и довѣряла всему, что она говорила. Но неясная, щемящая боль в сердцѣ не уступала. Под конец я во всем согласилась с ней и... горько, неутѣшно заплакала. Мама задумалась.

А придя перекрестить и поцѣловать меня на ночь в постели, сказала:

— Раз ты послушалась маму, во всем уступила, и все-таки тебѣ тяжело, — значит, это не каприз, а гораздо серьезнѣе... Не плачь. Мама не захочет огорчать тебя.

Через нѣсколько дней, не дожидаясь экзаменов, мама купила мнѣ в Гостином Дворѣ коричневаго шевіота на форменное платье и чернаго люстрина на передник.

Она знала наперед, что ученица фрелейн Зидлер не может провалиться на экзаменах даже в русскую казенную гимназію.

II
ДОБРОЕ НАЧАЛО

В жаркій, уже почти совсѣм лѣтній день мы поднимались по лѣстницѣ в канцелярію гимназіи.

Худенькая, молодая учительница в синем шерстяном платьѣ, с заложенными в крендельки косами на ушах обогнала нас, обернулась, пристально посмотрѣла на меня и вдруг, ласково улыбнувшись, обратилась к мамѣ:

— Я вашу дѣвочку по сестрам узнала. У нас других таких чернушек в гимназіи нѣт.

Мама протянула ей руку и, показывая на меня глазами, сказала:

— Прямо-таки на глазах у меня худѣет со страху! А бояться ей нечего. Я за нее спокойна: выдержит!

Я сдѣлала реверанс учительницѣ и судорожно глотнула воздух.

Учительница засмѣялась.

– По русскому языку я буду тебя экзаменовать. К двум часам приду. Сейчас, послѣ молебна, у вас ариѳметика, французскій язык, нѣмецкій, а потом уже русскій.

— В котором же часу нѣмецкій? — дѣловито поинтересовалась я, чтобы придать себѣ увѣренности и спокойствія.

— Точно сказать не могу, дѣтка.

– Ну это, в общем, все равно, — опять

вздохнула я.

Мама взяла меня за плечо. Мы подошли к дверям канцеляріи.

Такого живота, как у инспектора, я еще никогда не видѣла! Он как будто случайно упал из-под жилета всей своей тяжестью в черные суконные брюки! И голова у инспектора была особенная: книзу — с двумя лоснящимися подбородками, кверху — заостренная, без единаго волоска!

Я так заглядѣлась на него, что даже про страх свой забыла. Он нѣсколько раз поправил на носу пенснэ в золотой оправѣ, которое, щелкая, соскакивало на черном шнуркѣ ему на грудь.

— Смотри, дѣвочка, слѣдуй поведеніем и успѣхами в ученьи твоим сестрам, — наставительно сказал он мнѣ. Потом очень любезно и привѣтливо заговорил с мамой.

Я стояла, уже совсѣм оправившись от волненья. Мнѣ было пріятно, что у меня такая красивая и нарядная мама, с шелковой вуалью на маленькой соломенной шляпѣ, с свѣтлыми лайковыми перчатками, которыя она держала в надушеных, тоненьких руках. Я часто испытывала теперь на людях гордость за свою маму, но стѣснялась в этом признаться. Здѣсь, в канцеляріи, эта гордость придала мнѣ даже какую-то храбрость.

— Ни за что не провалюсь! И бояться не-

чего, — рѣшила я и, когда раздался звонок к молебну, спокойно пошла за мамой в зал.

Здѣсь нас с мамой разъединили. Меня поставили в ряды дѣвочек, пришедших на экзамены; мама прошла к группѣ учителей, учительниц и гостей, за колонны. Ее не стало видно.

Прямо против большого стѣнного образа Спасителя уже ждал толстенькій, маленькаго роста, рыжеволосый батюшка в темнокоричневой рясѣ. Направо от него, у окна стоял хор учениц старших классов с раскрытыми синими тоненькими папками нот в руках. Как странно было видѣть здѣсь Лизаньку — озабоченную и немного чужую. Она стояла спиной к батюшкѣ, лицом к хору и что-то тихо объясняла одной ученицѣ, водя камертоном по ея нотам. Другая ученица отдѣлилась от хора, взяла ее под локоть. Лизанька опять как-то особенно, по-дѣловому, немного насупив брови, выслушала ее и, наклонившись, стала напѣвать ей в ухо.

Я поняла, что быть регентом совсѣм не просто, хотя и очень интересно!

— Благословен Бог наш, всегда, нынѣ и присно и во вѣки вѣков, — сипловато, нараспѣв, сказал батюшка.

Лизанька ударила камертоном по рукѣ, быстро поднесла его к уху, довольно громко промурлыкала с закрытым ртом нѣсколько нот,

обращаясь то в одну, то в другую сторону хора. Потом опять быстро, рѣшительно подяла руки и взмахнула головой...

— Аминь, — сразу же отвѣтил на это хор. И послѣ маленькой паузы стройно запѣл «Царю Небесный».

Тут уже Лизанька оказалась совсѣм «по-хозяйски» степенной, занятой и очень увѣренной.

Я не сводила о нея глаз.

Послѣ молебна батюшка, повернувшись прямо к нам, сказал, что хочет пожелать нам всѣм теперь, послѣ усердной молитвы к Богу, хорошо выдержать экзамены. Но и став ученицами гимназіи, мы не должны забывать, что наши успѣхи, наше здоровье, все наше благополученіе — в рукѣ Божіей. Нам нужно только быть послушными и прилежными дѣвочками. Он говорил еще о чем-то, но я слышала только, как он произносил на «о» отдѣльныя слова, смотрѣла, как он перебирает на груди маленькой, пухлой рукой цѣпочку от креста. Когда он улыбался своими зеленоватыми узенькими добрыми глазами — мнѣ самой хотѣлось улыбаться. Но смысла его ласковой пріятной рѣчи я, в разсѣянности, не ловила.

Первой подошла приложиться к кресту начальница — худенькая, немного кривая на один бок сѣдая дама,—и уже знакомый мнѣ инспектор. А послѣ них мы с молоденькой классной дамой.

Поцѣловав крест и руку батюшки, я замѣтила, что пальцы у него дрожат так же, как всегда дрожали у моего папы. Этим батюшка еще больше понравился мнѣ. Я отошла от него, потом обернулась, замѣшкалась в дверях зала и, наконец, подѣлилась впечатлѣніями с своей сосѣдкой—востроносенькой, очень некрасивой дѣвочкой в клѣтчатом платьѣ:

— Какіе добрые глаза у батюшки! А пальцы дрожат, как будто ему холодно.

— Это потому, что он вина много пьет! А так, вообще, он добрый и хорошій. Моя сестра Рита с дочкой отца Іакова за одной партой сидит... Потому я все и знаю. И тебѣ потом буду разсказывать, если мы будем дружить.

— У моего папы тоже пальцы дрожали, — нерѣшительно сказала я, не зная сама, за кого обидѣться больше: за папу или за отца Іакова.

В это время всѣ дѣвочки в залѣ успѣли приложиться к кресту, и классная дама подошла к нам.

— Теперь, дѣти, пойдем потихоньку наверх, в классы.

— Навѣрно обѣ провалимся, — неожидано рѣшила востроносенькая дѣвочка и озабоченно вздохнула, становясь со мной в пару.

Однако, все пошло так хорошо, что я даже развеселилась послѣ перваго же экзамена. Уж очень ласкова и привѣтлива была учительница ариѳметики — маленькая старушка с широким

кожаным поясом выше таліи на синем сборчатом платьѣ и в синих же круглых очках.

Таблицу умноженія и легкія задачки по Евтушевскому мы в школѣ фрелейн Зидлер знали на зубок. А ничего другого у меня не спросили. И только под конец произошла маленькая заминка, когда на вопрос сколько будет трижды 27 я, поспѣшив, написала на doскѣ 87.

— А ты хорошенько подумай, — сказала учительница и задержала на доскѣ мою руку с мѣлом.

Я опустила голову и вполголоса сосчитала:

— Трижды двадцать — шестьдесят, а трижды семь — двадцать один, значит... значит восемьдесят один...

И сконфуженно начала стирать губкой цифру 7.

— Жаль, напослѣдок ошиблась, — сказала учительница — Придется один балл тебѣ скинуть.

На французском экзаменѣ мадам Габріэль — высокая, плоскогрудая, сутулая, с длинным носом в видѣ клюва — дала мнѣ прочесть разсказик о мальчикѣ, работавшем у своего отца на огородѣ, велѣла перечислить всѣ овощи и цвѣты, которые мнѣ были извѣстны, и написать их на классной доскѣ. Вышло что то вродѣ диктовки, так как она тихонько подсказывала мнѣ нѣкоторыя слова и слѣдила только за тѣм, чтобы я их грамотно написала.

Потом была перемѣна, а сразу послѣ нея экзамен по нѣмецкому языку. Фрау Гартвиг, узнав мою фамилію, сразу же заговорила со мной по-нѣмецки, разспрашивала, гдѣ мы теперь живем, на какой улицѣ, кто меня будет провожать в гимназію: фрелейн, или прислуга. Во время диктовки она посадила меня за отдѣльную парту.

— Сиди тут одна, а то другія дѣвочки будуть соблазняться списывать с твоего листка.

Когда мы кончили диктовку, она нѣсколько раз заглянула сзади, через мое плечо, в написанное мною, побранила за то, что указательный палец держу крючком, и размашисто поставила в экзаменаціонный лист против моей фамиліи «12» — высшій балл.

Послѣ десятиминутнаго перерыва в класс медленно вплыл отец Іаков. Не видно было, как передвигались его маленькія полныя ноги. Плавно двигались вдоль туловища короткія, полныя руки. Даже улыбка и та плыла, медленно растекаясь по красноватому, припухшему лицу его. Весь он показался мнѣ еще болѣе уютным, безшумным, мягким.

Я знала, что ни экзаменоваться, ни учиться у батюшки Іакова мнѣ не придется. У нас, армянок, был свой батюшка старик Тер Грикор. Но мнѣ не захотѣлось уйти на время русскаго экзамена по Закону Божію в зал, как мнѣ предложила классная дама. Я ждала

появленія отца Іакова в классѣ, чтобы поближе разсмотрѣть его и познакомиться с ним.

Одна из дѣвочек вышла на середину зала и отчетливо прочла «Преблагій Господи». Потом батюшка стал называть фамиліи дѣвочек по экзаменаціонному листу. Я оставалась одна в сторонѣ на послѣдней партѣ.

— А это кто же будет? Больше никого на листкѣ не записали, — сказал батюшка и поднес список к глазам.

Я назвала свою фамилію. Он широко улыбнулся.

— Ну-те, ну-те... так, значит, армяночка, — сказал он, произнося «а» так мягко, что вышло почти «ярмяночка»...

— Да, батюшка.

— Вот оно что! Ну-те, пойдите-ка сюда поближе.

Я подошла.

— Что, небось тоже голосистая? В сестер пошла? И слух такой же? А какія молитвы по русски знаете? Вот вы нам послѣ конца-то экзамена и прочтите «Благодарим тя, Создателю». Ладно? Ну, умница.

Я вернулась на свою отдаленную парту совсѣм счастливая. С волненіем ждала я, когда кончится экзамен и батюшка вызовет меня на середину класса. Но прочесть молитву мнѣ не удалось. За мной прислали из канцеляріи и велѣли подняться в докторскую, на медицинскій

осмотр. А когда я послѣ осмотра сбѣгала по лѣстницѣ обратно в класс — уже раздался звонок. Добѣжав, я заглянула под зеленую занавѣску на дверях класса. Дѣвочка в синей матроскѣ стояла одна перед образом и, вѣроятно, уже кончала читать молитву. Слов за дверьми, правда, не было слышно, но и батюшка и дѣвочки уже как бы под конец молитвы по три раза перекрестились. Когда отец Іаков выходил из класса, я постѣснялась подойти к нему и убѣжала к окнам вглубь коридора.

Но когда послѣ экзамена по русскому языку, получив 12 и за диктовку и за устный отвѣт, я неслась к мамѣ в актовый зал, то опять встрѣтила отца Іакова на лѣстницѣ и бросилась к нему.

— Батюшка, я по всѣм предметам выдержала на 12. Только по ариѳметикѣ 11 получила — захлебываясь, похвасталась я.

— Ай да ай! Ай да ярмяночка. Ну, и слава Те, Господи, — нараспѣв сказал батюшка и протянул руку к моей головѣ.

Я навѣсу поцѣловала ее и побѣжала дальше.

* * *

С осени началась новая жизнь.

Но как прежде моя дѣтская комната, мои ежедневныя прогулки с Нешей в Таврическом

саду, мои занятія в школѣ фрелейн Зидлер никогда не нуждались в разнообразіи или в каком-то богатствѣ «случаев и развлеченій», — так и теперь: гимназія с ея ежедневным однообразіем и совсѣм особенным укладом стала сама по себѣ прекрасной и чуть-чуть сказочной для моей души.

Я и прежде не умѣла и не любила слушать сказки (даже самыя занимательныя), оторвавшись от прелести моей уютной дѣтской. Боялась, что ускользнет от моего вниманія сухое потрескиваніе дров в печи, скрип соломеннаго диванчика подо мною, звуки гамм, доносившіеся из гостиной, печальная хмурость сумерек за окном. Мнѣ нужно было все видѣть, все слышать и во всем оцѣнить ту прелесть, которую давали мнѣ сказки, читаемыя или кѣм-то разсказываемыя именно в этой привычной обстановкѣ моей дѣтской.

Сестра Тамаринька неловко садилась на ручку дивана, неудобно свѣшивала ноги, машинально дергала во время разсказа свою растрепанную косичку. Она не устраивала и даже как будто не желала устраивать уюта вокруг нас, а только погружалась всѣм своим вниманіем в то, что читала сама или что слушала от других. Я огорчалась и даже сердилась на нее за это.

Мнѣ казалось, что самаго главнаго она из-за этой своей безпорядочности и не очень цѣн-

наго фантазерства не понимает!

Не понимает того, как хороши *сказки*, живущія совсѣм *по-настоящему*, когда их внимательно слушаешь вмѣстѣ с *жизнью* вокруг, текущей всегда немного *по-сказочному*...

III

ГИМНАЗИЧЕСКІЙ МІРОК

Подруг в гимназіи у меня оказалось сразу очень много. В большую перемѣну мы, обнявшись, гуляли по коридору растянутой цѣпью. Классная дама сердилась на нас за это, потому что мы заграждали проход другим и пріучались сутулиться, держа руки на плечах друг у друга.

Дома, наединѣ с собой, я часто старалась разобраться, кто из подруг был мнѣ дороже и ближе. Очень честно распредѣляла мѣста в своем сердцѣ, но на дѣлѣ получалась у меня путаница.

Маруся Ершова, рыженькая, всегда смѣющаяся, догадливая и смѣлая дѣвочка, умѣла так истинно по-товарищески поддерживать во всѣх шалостях, так выручать во всѣх бѣдах, что я вдруг начинала жалѣть, что не отвела перваго мѣста ей.

Катя Вилкина, дочь очень богатой купчихи, всегда умѣла найти случай помочь кому-нибудь

из бѣдных учениц: купить новую книгу, подѣлиться своим вкусным завтраком, или даже устроить кому-нибудь на свои деньги елку с подарками и угощеніем. Катя была у нас в классѣ доброй феей. Я бывала у нея в гостях: жили они в простенькой квартиркѣ, прислуга у них была всего одна, но в домѣ чувствовалось довольство, сытость и полное благополучіе. Мать у нея была тоже простая, грубоватая, но очень добрая и набожная. И Катю мы часто звали «молельщицей». Она, кажется, не пропускала больших церковных служб, если только бывала свободна.

Но совсѣм на особом счету была у всѣх нас Ада Климова. Ей никто не говорил «ты,» ее не посвящали в такія шалости или ссоры, от которых в глубинѣ души бывало неловко за самих себя. Ей никто не завидовал, хотя она была первой ученицей. Ада у нас была совѣстью и молчаливым судом всего класса. Она казалась старше нас всѣх по своей степенности и воспитанности. Иногда мнѣ казалось, что даже учителя и учительницы немного подлаживаются под ея скромный и серьезный тон. То, что она ни при каких условіях не сумѣет солгать, было для всѣх одинаково очевидно. Она ни с кѣм не дружила и не с кѣм не бывала особенно ласкова и близка. Но ровность и привѣтливость ея удивляла и смущала нас, ссорившихся по нѣскольку раз в день. Когда Ада подо-

шла ко мнѣ и сказала, что ея мама просит мою маму отпускать меня по воскресным дням к ним, я очень обрадовалась и пошла к ним даже с нѣкоторой гордостью в душѣ за Адино расположенiе ко мнѣ. Мы подружились. Но на «ты» так никогда и не перешли во всѣ годы нашей дружбы. Я не знаю, была ли она красивой дѣвочкой, но я всегда любовалась ею. У нея были ровныя, длинныя косы и узенькiя блѣдныя руки. Косы ея никогда не были растрепаны, руки никогда не были грязны от чернил, а платье и передник перепачканы в мѣлу, как у нас.

Вообще Ада ни на кого из нас не походила и этим была еще болѣе мила нам всѣм.

Классная дама Вѣра Николаевна Звягинцева была еще совсѣм молоденькой барышней, от учениц выпускного класса ее отличало только синее платье, отсутствiе передника и длинная золотая цѣпочка с часами на груди. Нас она, кажется, всѣх любила и так интересовалась нашими дружбами, ссорами, болтовней, что это даже стѣсняло нас. Учителей же и учительниц сама немного стѣснялась и краснѣла в разговорѣ с ними.

Из преподавателей, экзаменовавших нас весной, остались в учебном году тѣ же — мадам Габрiэль, фрау Гартвиг, старушка Анна Семеновна (ариѳметичка) и отец Iаков. Новыми были: учитель ботаники — поляк Данцевич, от

котораго всегда пахло сладкими духами и помадой, учитель чистописанія — мосье Бар, обрусѣвшій француз, важный, медлительный, с сѣдыми баками, и учитель танцев — Петр Ильич К., бывшій артист Императорскаго балета.

На уроках Петр Ильича тишина и порядок были образцовые. Когда он легкой, подпрыгивающей походкой входил в огромный зал, дѣлал нам изящное рыцарское привѣтствіе рукой, мы мгновенно смолкали и опускались в низком реверансѣ. Петр Ильич, поздоровавшись с нами, обращался в полуоборот к тапершѣ Маріи Андреевнѣ, которую мы за ея кротость и скромность прозвали сиротинушкой-старушкой. Этим полуоборотом в ея сторону Петр Ильич показывал нам, что и мы должны повернуться в полу оборот к ней и сдѣлать ей такой же почтительный реверанс, как и ему. Мы с радостью это исполняли, так как чувствовали к ней особенную симпатію. Рояль всегда был нами заранѣе для нея раскрыт. У пюпитра часто красовались в казенной эмалированной кружкѣ для чая букетики подснѣжников, фіалок, или просто осенних, ярких золотисто красных листиков рябины, — смотря по времени года. Говорили, что она сначала даже пугалась этой подчеркнутой симпатіи и нѣжности к себѣ учениц рѣшительно всѣх классов. Но избалованнѣе и смѣлѣе не стала.

За то учительницу географіи — Раису Сер-

гѣевну — мы всѣ открыто ненавидѣли. Она так входила в класс, как будто шла не учить нас, а «куражиться» над нами! Разсказывала и объясняла она очень интересно. Память у нея была замѣчательная. Была она даже, пожалуй, справедливой, так как никого из нас не выдѣляла: любимиц у нея не было. Но и вообще то ни малѣйшей любви к нам у нея не было. Она не спрашивала, а допрашивала. Колкіе, насмѣшливые, умные глаза никогда не помогали нам быть на уроках сообразительнѣе и живѣе. Наоборот. Они отнимали всякое довѣріе к себѣ, надежду получить хорошій балл, заранѣе заставляли чувствовать себя тупыми, неспособными, медлительными. Особенно невыносимыми казались ея уроки послѣ уроков отца Іакова, или Петра Ильича с тихонькой, кроткой тапершей Маріей Андреевной.

IV

ЖИЗНЬ ДОМА УСТРАИВАЕТСЯ ПО-НОВОМУ

Дома у нас жизнь к этому времени очень измѣнилась. Папа вышел из больницы слабеньким, грустным, почти безпомощным. На прежней службѣ он оставаться больше не мог. Правда, он еще мог иногда заниматься со студентами по математикѣ. Тогда к нему на время возвра-

щалась и память, и бодрость, и даже веселость. Но послѣ часа или двух часов занятій он блѣднѣл, уставал, начинал невнятно говорить, раздражаться. Ученики-студенты потихоньку, на цыпочках, выходили из его кабинета, оставляя его иногда внезапно уснувшим в креслѣ. Доктора посовѣтовали мамѣ отправить его поправляться на Кавказ.

Сначала папа вовсе не писал нам из Дагестана, гдѣ он жил у бабушки. Потом он написал большое письмо, сообщая, что ѣдет в Баку на нефтяной промысел, так как уже достаточно окрѣп для того, чтобы не сидѣть без дѣла.

Мама прочла нам его письмо за столом и вдруг заплакала, опустив лицо в ладони. Мы — дѣти — и Неша плакали вмѣстѣ с ней. Всхлипывала в дверях и Настя. Послѣ обѣда мама позвала нас к себѣ в комнату. Лицо у нея опять было такое же рѣшительное и спокойное, как всегда.

— Вы теперь большія дѣвочки гимназистки, — сказала она, — и должны понять то трудное положеніе, в котором мы очутились. Папа никогда не поправится окончательно и никогда на ваше образованіе, на вашу жизнь зарабатывать не сможет. Он служит мелким конторским служащим на промыслѣ, зарабатывает гроши.

— С его-то способностями и с его образованіем! — едва сдержав слезы, воскликнула ма-

ма. — Об этом не надо разсказывать посторонним. Его будут осуждать. Всѣ знают, что болѣзнь произошла... от вина... Я дѣлала все, чтобы удержать его... Ничто не помогало. Теперь, послѣ больницы, послѣ леченія, он возненавидѣл даже запах вина... Но, к сожалѣнію — сил к труду уже не вернуть! Что подѣлаешь? Мы всѣ должны попрежнему его любить, писать ему почаще на Кавказ... Ни на что не жаловаться... Ему самому теперь не сладко... Но вы, дѣвочки, не забывайте, что вы у меня растете безприданницами!.. — полушутя, полусерьезно прибавила мама, — Ничего, кромѣ образованія, я вам дать не могу... Почти всѣ деньги, которыя я получила от дѣдушки в приданое, — уже разошлись... Теперь мнѣ нужно работать, работать, зарабатывать на всѣх нас... А вы должны мнѣ обѣщать, что будете слушаться во всем Нешу, чтобы мнѣ быть посвободнѣе от домашних дѣл... Обѣщайте хорошо учиться... а главное — не болѣть. Болѣть не полагается, а то я совсѣм голову потеряю!» И перецѣловав всѣх, мама отослала нас из своей спальни учить уроки.

Послѣ этого дня в нашей жизни произошло много перемѣн. Но главныя перемѣны произошли в моем сознаніи. Оживляясь и даже как будто «развлекаясь» при каждом новом событіи в нашей внѣшней жизни, я с грустной покорностью в душѣ прощалась с самым дорогим

для меня: с моим дѣтством, проведенным в квартирѣ на Кирочной улицѣ, гдѣ я родилась и гдѣ всего еще год тому назад, увидѣв папу больным, безпомощным, вдруг превратившимся в ребенка, в «младшаго» по отношенію ко мнѣ, — я пережила такую боль и страх, что никогда уже не могла оправиться от перваго, тяжелаго удара! Его странное, тоже безотрадное возвращеніе на короткій срок из больницы домой, его отъѣзд на Кавказ — были вторым испытаніем для моего сердца. До этого времени я еще не теряла надежды на возврат нашей чудесной дружбы и близости. Но слова мамы и вскорѣ переѣзд на новую квартиру, в которой даже не отводили комнаты под папин кабинет, дали мнѣ понять, что он ушел из нашей жизни навсегда. Оставалось только одно: сохранять его образ внутри себя, в том потаенном уголкѣ, гдѣ хранились воспоминанія о его совсѣм особенном заботливом интересѣ ко всему, что происходило в моей жизни, и о сіявших грустным нѣжным свѣтом глазах, когда он смотрѣл на меня.

Теперь я могла (а, по словам мамы, и должна была) много и часто писать ему на Кавказ. Так я и дѣлала. Но написав письмо, не сразу относила его прочесть мамѣ... Прежнему папѣ я бы написала так правдиво, как чувствовала и как видѣла все вокруг себя. И тѣ письма мама никогда не захотѣла бы читать, перед тѣм как отправить ему. Она всегда уважала и

даже поощряла мое «секретничанье» с ним... Т е п е р е ш н е м у папѣ надо было писать так чтобы — Боже сохрани — ни в чем его не огорчить, не озаботить. И мама должна была провѣрять, не погрѣшила ли я случайно в чем. Единственная, неповторимая близость наша этим была нарушена. Написав такое письмо, я подолгу просиживала одна, на моей дѣтской скамеечкѣ, под роялем, в темной гостиной. Гдѣ-то, в глубинѣ, за многими перегородками души чувствовалось, что папы уже нѣт, а мѣсто, ему принадлежавшее, осталось жить и...ждать. Ждать, что кто-то другой займет его с той же лаской и заботой обо мнѣ... — Мама? — думала я. — Нѣт. — Красивую, нарядную, умницу маму мнѣ никогда не хотѣлось з а н и м а т ь с о б о ю... Мнѣ гораздо интереснѣе была о н а с а м а. Тѣ недолгіе часы, которые она проводила со мной, я оберегала, как праздник, когда не хочется говорить о своих буднях...

Нѣт, не мама!

И, не измѣняя ушедшему дорогому образу, я вспоминала чьи-то тоже дрожащія руки, отеческій, заботливый, сіяющій взгляд и ласковую медлительную рѣчь...

Для папы я была самым любимым на свѣтѣ «дурачком», «ненаглядной плаксой» в его единственной по силѣ и по нѣжности любви ко мнѣ. Все это, конечно, было неповторимо...

Но и «ярмяночка» уже имѣла право на оте-

ческую любовь и заботу о своей несуразной и всегда немного озабоченной душѣ... И это утѣшало.

Когда в дневникѣ бывал помѣчен на завтрашній день урок Закона Божьяго для русских дѣвочек, — пустое мѣсто за многими внѣшними перегородками души внезапно согрѣвалось присутствіем отца Іакова.

* * *

В квартирѣ на Литейном проспектѣ было три парадных комнаты и три жилых. В парадных комнатах началась жизнь «для чужих», для заказчиц салона шляп и платьев, который мама рѣшилась открыть на послѣднія деньги, оставшіяся от ея приданаго.

В концѣ длиннаго коридора с поворотами, переходами и выступами были еще двѣ мастерскія. По коридору цѣлый день шмыгали в мягких туфлях и в бѣлых передниках дѣвочки, носившія из мастерских в салоны платья, перья, тюль, отрѣзы матерій, кружева, ленты, соломки.

Мы расположились в комнатах между этими двумя мірами. В концѣ коридора мы не смѣли показываться. Там, за мастерскими, были кухня и людская, окончательно запрещенныя для нас. Впрочем, и в «салоны» нас пускали только изрѣдка, вечером, полюбоваться.

Какую роскошь мы там находили: широко-

полыя шляпы, отдѣланыя не просто перьями или цвѣтами, а словно живыми, райскими птицами с пушистыми хвостами или цѣлыми вѣтвями шелковой двухцвѣтной сирени! Иногда на соломенных полях шляп выростали клумбы ядовито-красной земляники или гирлянды глянцевитых вишен!

Конечно, сами мы притрагиваться к чему-нибудь из этого богатства не рѣшались. Но маму часто просили помѣрить какую-нибудь особенно замысловатую шляпу, или нарядное бисерное вечернее платье. Мама соглашалась, но очень скоро уводила нас из салонов, запирала двери на ключ и облегченно вздыхала, когда мы снова переходили в свои жилыя простенькія комнаты.

В комнатѣ, гдѣ я спала с Нешей, жизнь во многом шла еще совсѣм попрежнему. Еще сидѣл на дѣтском соломенном диванчикѣ рядом с куклами Мишка с вытертой от времени бархатной шкурой и с оторванным ухом. В книжном шкафу, за стеклянной дверью уютно поглядывал с нижней полки трепанный русскій букварь, разсказы Буша, сказки Андерсена, Гауфа, Гримма и нѣмецкія дѣтскія книжки. Из них особенно любимым был томик никому неизвѣстнаго автора «Märchen und Erzählungen» А между тѣм на верхних полках уже красовались перекочевавшія сюда из библіотечки старших сестер полныя

собранія сочиненій Гоголя, Пушкина, Лермонтова, Брет-Гарта, Диккенса, Сельмы Лагерлеф и... сказки Кота Мурлыки. Этот таинственный Кот Мурлыка все больше раскрывал передо мною новый смысл своих волнующих сказок по мѣрѣ того, как я росла и развивалась от дѣсяти до тринадцати лѣт. Из всѣх полученных мною книг я обычно могла читать только то, что выбирала мнѣ мама или сестра Лизанька. И только один Кот Мурлыка мог обходиться без цензуры.

Мама, да и я сама, признавали какую-то особенную «родственность» его в тѣ годы моей душѣ.

V

НАЧАТОК БУДУЩАГО

Как-то вечером к нам на квартиру неожиданно пріѣхали двѣ классныя дамы из старших классов и учитель пѣнія. Лизанька пригласила их пройти в гостиную подождать маму, которая была еще занята с заказчицами. Когда мама вышла к гостям, то позволила Лизанькѣ остаться в гостиной. Вскорѣ Лизанька прибѣжала к нам и разсказала, что они пріѣхали просить маму спѣть в большом концертѣ в пользу бѣдных учениц гимназіи.

— Мама отказывается, говорит, что она

сейчас даже уроков пѣнія не дает, а тѣм болѣе не выступает сама. Но они настаивают. И мама навѣрное согласится, потому что в гимназіи рѣшили освободить вас обѣих от платы за ученье, и теперь мамѣ особенно неудобно отказываться от концерта в пользу бѣдных учениц.

Мы повѣрили Лизанькиным догадкам, но все же ждали с нетерпѣніем, чѣм кончится разговор в гостиной.

Потом по маминому смущенному голосу за стѣной и по общему любезному веселому тону при прощаніи мы поняли, что мама согласилась.

И для меня начались цѣлыя недѣли волненій за маму, безсонных ночей, каких-то внезапно вспорхнувших на поверхность сознанія размышленій о пѣніи, о сценѣ, таких захватывающих, тревожных и близких, что в них уже предчувствовался, вѣрнѣе, предугадывался мой собственный неизбѣжный путь.

Тот вечер, когда мама, немного чужая, как будто даже безразличная к нам, стояла в тюлевом дымчатом платьѣ с орхидеями на плечѣ перед трюмо и пудрила большой пуховкой шею, стал начатком моего будущаго: я тут же, от всѣх тайком, приняла рѣшеніе стать артисткой.

Подали к подъѣзду карету. Распорядитель, молодой студент (брат одной ученицы), дожидался маму в гостиной. Мама достала из шифоньерки тяжелый браслет с двумя скрещивающимися у замка топазами. Потом осторож-

но надѣла через голову вчетверо сложенную нитку мелкаго желтоватаго жемчуга с большим крестом из тринадцати бриллiантов.

— Кто из вас, дѣвчурки, станет пѣвицей, тому и отдам этот крест. Мнѣ бабушка его подарила, когда я еще консерваторкой была; передѣлала из своей старинной брошки.

Мама перецѣловала нас, перекрестила, и мы всѣ перекрестили ее. Потом взволнованная и, как мнѣ показалось, неестественно веселая, вышла в переднюю. Настя уже держала на вѣсу бархатную темнокрасную ротонду с густой мѣховой опушкой.

Карета отъѣхала. Мы проводили ее из окна тоже с взволнованными и разгоряченными лицами.

VI

«ВОЛЧЦЫ И ТЕРНIЯ» НА АРТИСТИЧЕСКОМ ПУТИ

Через год получила и я приглашенiе выступить с пѣнiем в гимназическом концертѣ. Но мамино выступленiе было, как всѣ потом говорили, очень удачным, а мое... не особенно.

На второй день Рождества в актовом залѣ устраивалась елка с играми, с танцами и с концертным отдѣленiем. Из «малышей» выбрали пѣть соло только меня, с хором из 80 учениц.

На репетиціях я без запинки и без всякаго смущенія «выпѣвала», как по заказу, свои куплеты. Их повторял за мной хор. Не могу сказать, чтобы я очень радовалась моему выступленію. Нѣт! И слова и мотив — мѣстами какой-то подпрыгивающій и неудобный — мнѣ не очень нравились. Но я покорно и добросовѣстно старалась пѣть на репетиціях как можно громче и увѣреннѣе.

Перед концертом мнѣ, как и мамѣ в свое время, надо было одѣваться и прихорашиваться. Я не без удовольствія надѣла новыя лакированныя туфли с помпонами, Неша украсила мою голову огромным голубым бантом аэропланом, нѣсколько раз расправила бѣлыя батистовыя манжеты и отложной воротничок на моем новом форменном платьѣ. Конечно, получалось не так нарядно, как у мамы, но всетаки тоже не плохо.

— А на груди у меня ничего не будет? — на всякій случай спросила я Нешу.

— На груди? Нѣт, ничего. Вот, если хочешь, посади бирюзового жучка, чтобы придержать у шеи воротничок.

— Жучка? Нѣт, не надо, — отвѣтила я и нащупала рукой под платьем свой золотой крестик на тоненькой цѣпочкѣ.

Актовый зал был переполнен публикой. В глубинѣ его была намощена от окон до боковых дверей эстрада, на которой стоял рояль.

Прямо против эстрады, на другом концѣ зала красовалась елка, пышная, огромная. Непонятно, как смогли внести ее в зал, не поломав и даже не помяв вѣтвей! Украшенія на ней были только серебряныя и вмѣсто свѣчек — матовыя электрическія лампочки. Я мысленно сравнивала ее с нашей домашней елкой — нарядной, играющей и золотым и серебрянным дождем, разноцвѣтными свѣчами, раскрашенными слюдяными и картонными бонбоньерками, хлопушками, ангелочками. Гимназическая елка показалась мнѣ и холодной и слишком однотонной.

Приблизилось время моего выступленія, когда эту чужую и не нравящуюся мнѣ елку я должна была перед всѣми воспѣть.

На эстраду мы вышли толпой, так как, поднимаясь по ступенькам лѣсенки, подставленной из коридора к эстрадѣ, сбились с указаннаго Вѣрой Николаевной порядка; но перед публикой раздѣлились на двѣ группы и встали по обѣ стороны рояля. Вторых голосов было меньше, чѣм первых, и они стояли попросторнѣе.

— Встань перед альтами, сказала мнѣ сиротинушка-старушка. — Поближе к публикѣ, вперед.

Я послушалась. Сиротинушка дала вступительный аккорд.

Первый куплет мы спѣли всѣ хором и очень

старались, а потому громко кричали. Потом я должна была пѣть одна.

Я посмотрѣла в зал и увидѣла, что в первых рядах сидят учителя, учительницы, инспектор. Всѣ мнѣ ласково улыбаются. Кое-кто даже наклонил голову, как бы заранѣе обѣщая мнѣ внимательно слушать. Сиротинушка кивнула мнѣ головой.

Я молчала.

Она дала еще один аккорд. Я вздохнула и опустила глаза. В публикѣ раздались сдержанные смѣшки.

— Ну! — сказал кто-то из дѣвочек сзади.

Я взялась за угол своего передничка и, бережно сворачивая его в трубку, глядя только на него, запѣла.

«Елка, елка, прелесть-диво,
«Как украшена она,
«Как обвѣшана красиво,
«Вся гостинцами полна!»

Первую строчку я спѣла тихо. Вторую — громче. Двѣ послѣднія — совсѣм увѣренно и громко. Хор повторил куплет.

Теперь я подошла к самому трудному мѣсту: к рѣзко «подпрыгивающему» снизу вверх мотиву. Мнѣ хотѣлось его пропѣть поотчетливѣе. Я опять выкрикнула нѣсколько высоких нот и стремительно скатилась к нижним. И вдруг почувствовала, что низких нот в этот вечер почему-то вовсе не оказалось! Мнѣ их при-

шлось прошептать, опять-таки не спуская смущенных глаз с свернутаго трубочкой уголка передника.

Когда пѣнье кончилось—нам долго аплодировали. А меня даже два раза вызывали кланяться. Я замѣтила, что публика улыбалась мнѣ больше прежняго и даже добродушно смѣялась, отбивая ладони в аплодисментах.

— Хорошо я спѣла? — спросила я Лизаньку, встрѣтив ее в коридорѣ.

— Хорошо. Только под конец ничего не было слышно.

— Как не слышно? Гдѣ же ты сидѣла? — обиженно спросила я.

— Стояла у стѣны, около перваго ряда.

— А почему же мнѣ всѣ так хлопали?

— От умиленія... потому что никто ничего не слышал, — весело отвѣтила Лизанька и погладила меня по головѣ. Потом дѣловито прибавила: — Когда поешь, надо из себя дуть, а ты в себя со страху воздух тянешь.

И, засмѣявшись, пробѣжала с подругами дальше.

Я ушла в глубину коридора, за сложенныя, как дрова, парты. Из зала доносился гул голосов и звуки венгерки. Я опять вздохнула, скрутила угол передника трубкой и отерла им слезы...

Но, повидимому, та часть публики, которая состояла из учительниц, учителей и начальства,

не поняла, как неудачно было мое первое выступленіе, и скоро меня опять попросили выступить. Ожидался пріѣзд Государыни Маріи Ѳеодоровны. Нас каждый день собирали в нижнем залѣ на репетицію особых реверансов, шагов и привѣтствій.

— Nous avons l'honneur de Vous saluer, Votre Majesté Impériale! — хором повторяли мы, десятки раз опускаясь в глубоком реверансѣ.

Катюшу Чеснокову, ученицу выпускного класса, выбрали продекламировать перед Государыней очень длинное, напыщенное стихотвореніе Виктора Гюго.

Меня же выбрали от «малышей» прочесть привѣтствіе на нѣмецком языкѣ, которое мнѣ предложили сочинить самой...да еще в стихах!

Не знаю, что меня больше испугало: роль поэтессы или же снова роль артистки. Однако, я не отказалась. Вечером, покончив с заданными уроками, очинила нѣсколько карандашей, приготовила цѣлую стопку листков почтовой бумаги. Сѣла «придумывать».

Перед вечерним чаем на втором листочкѣ бумаги (а первый был уже весь исписан и перечеркнут крест-на-крест, как неудавшійся) красовалось

«Wir alle, Jhre treue Kinder,
«Bedanken Jhre Majestät...*

Неша удивилась, что я оказалась такой тя-

*) Мы всѣ, Ваши преданныя дѣти, благодарим Ваше Величество...

желодумной: провела болѣе двух часов над двумя строчками!

Ночью я не спала. Стихотворствовала. Писать в постели было не на чем, и я мысленно записывала каждую фразу десятки раз на стѣнѣ, как бы гипнотизируя в темнотѣ эту невидимую стѣну, чтобы с нея не слѣзли до самаго утра вдохновенныя строки.

На разсвѣтѣ, несмотря на протесты Неши, я в одной рубашкѣ подсѣла к столу и, уронив голову над бумагой, свѣсив кончик языка, возбужденно декламируя, торопясь, волнуясь, написала длинное привѣтствіе в стихах.

VII

БОЛѢЗНЬ

Через нѣсколько дней утром я проснулась оттого, что паровоз, на котором я почему-то ѣхала во снѣ, стал особенно громко пыхтѣть, ударяя этим пыхтѣніем мнѣ в ущи. Потом он протяжно засвистѣл и облил мнѣ грудь кипятком

Я вскочила и присѣла на постели. Неша тоже проснулась, спросила меня, в чем дѣло, посмотрѣла на часы и позволила мнѣ еще немного понѣжиться в постели, пока она будет одѣваться.

Через полчаса, уже сидя за завтраком,я опять почувствовала, что приближается пыхтящій

паровоз. Уронив голову на стол, я сказала Нешѣ, что мнѣ стало как-то неудобно и жарко в груди. Неша потрогала мой люб и руки, потом отвела меня в нашу комнату и поставила мнѣ под мышку градусник. Я не знаю, какая была у меня температура в то утро, но Неша, вынув градусник, пошла будить маму.

В полуснѣ я слышала, как вошла мама и о чем-то спросила меня. Потом звонила рядом в столовой куда-то по телефону. У самых дверей заглушенно всхлипывала Тамарка, которую тоже не пустили в гимназію. Мама уговаривала ее не плакать и не безпокоить меня. Скоро пріѣхал совсѣм чужой и, вѣроятно, очень важный доктор. Я спросила, почему не позвали ко мнѣ Соколова — моего любимаго, совсѣм привычнаго и нестрашнаго доктора.

— Он лечит только маленьких дѣтей. А ты теперь уже большая дѣвочка,— отвѣтила мама.

Чужой доктор долго изучал мой живот, хотя он у меня почти совсѣм не болѣл. Главное было в паровозном пыхтѣніи в ушах и в обливаемой кипятком груди. Но доктор мнѣ не вѣрил. А я не вѣрила ему.

Проглотив за день много ложек микстуры и порошок, я почувствовала, что умираю. Ночью сдѣлала послѣднее усиліе отстранить от себя бурлящій кипяток. Вскочила, что-то оттолкнула от груди сжатыми руками, с силой выдохнула горячій воздух и упала на подушки.

По подбородку на рубашку закапали изо рта сгустки крови. Неша вскрикнула и бросилась за мамой.

Ночью, в бреду, я все-таки различила склоненную надо мной голову доктора Соколова и с облегченіем подумала, что теперь все пойдет хорошо.

Однако, пріѣзда Государыни мнѣ увидать не удалось. Я до самаго лѣта пролежала в постели с крупозным воспаленіем легких.

VIII
ДАЛЬНЕЕ ПУТЕШЕСТВІЕ

В то лѣто я, наконец, увидѣла Кавказ.

Два первых дня моего путешествія с мамой в отдѣльном двухмѣстном купе я провела, как проводила обычно в поѣздѣ: цѣлый день наслаждалась тѣм, как толково, опрятно, интересно налаживалась наша дорожная жизнь. По-игрушечному уютно, в каждой мелочи предусмотрительно удобно было наше купе. Просторны, мягки, добротны были в нем койки. Свѣжестью пахли парусиновые, грубоватые чехлы на них. Широки и просторны были коридоры со складными скамеечками между окон. Проводник на всѣ зовы и звонки отвѣчал весело и почтительно. Казалось, он не столько прислуживал, сколько помогал пассажирам в их путешествіи. И кондуктор — тучный человѣк в синей длинной

туго обтянутой в таліи и расходящейся густыми сборками книзу поддевкѣ — был тоже почтительно вѣжлив и полон какого-то «хозяйскаго» достоинства в обращеніи с нами.

В первый же день нашего пути, за обѣдом в вагонѣ-ресторанѣ, с нами разговорился сосѣд — важный сѣдой господин с траурной повязкой на рукавѣ.

— Ручаюсь вам: нигдѣ заграницей вы не найдете ни комфорта, ни уюта, ни такого плавнаго хода поѣздов, как у нас! Во Франціи гарсоны в эдаком вагонѣ чуть ли не кэк-уок с тарелками танцуют — так их бросает из стороны в сторону! В Германіи — получше. Но тоже до нашей плавности и покоя в движеніи далеко! Спят — калачом, койки короткія, узкія... Встрѣтишься с кѣм-нибудь в коридорѣ, хоть по стѣнѣ распластайся: иначе не разойтись!...

Мама тоже бывала заграницей и потому соглашалась с сѣдым господином.

— А мы все недовольны! — ворчал старик, уже не глядя на нас и с свирѣпым лицом жуя цыпленка. — Все заграницу ѣздим, русскія денежки возим! Свое, видите ли, плохо, не нравится! Да у нас в третьем классѣ и то народ отдыхает, а у них и в первом мучается!

— А вы сами часто заграницей бывали? — спросила старика дама, сидѣвшая по другую сторону стола.

Старик недовольно помолчал. Потом рѣши-

тельным жестом отодвинул тарелку с остатками цыпленка, махнул рукой, так же рѣшительно и свирѣпо вытер накрахмаленной салфеткой рот и отвѣтил:

— Каждое лѣто туда нелегкая несет!

Всѣ засмѣялись.

А за окнами, по обѣ стороны вагона, стремительно бѣжали навстрѣчу поля со стадами крупных, лѣнивых коров, лѣса, огороды... Мелькали плетни и колодцы у полустанков, вереницы телѣг у переѣздов... И снова березовыя рощи, засѣянныя поля, рѣки... За два дня глаз привыкал ко всѣм этим довольно однообразным картинам и все же не хотѣл оторваться от них.

Вечерами я жалѣла, что подкрадывался сон, который до самаго утра должен был прекратить любованье тѣм, что окружало меня. Как привлекателен был в эти часы уют нашего купе при синеватом свѣтѣ задернутаго матерчатым колпаком плоскаго фонаря под потолком. Я жалѣла о том, что сон прекратит прислушиванье к мѣрному, глуховатому стуку колес. А вмѣстѣ с тѣм именно этот-то стук и убаюкивал и располагал ко сну. Словом, хотѣлось одновременно и спать и бодрствовать, чтобы ничего не потерять из всей необычайной обстановки путешествія.

Уже засыпая, я дѣлала послѣднее усиліе воли, приподымалась, отворачивала край зана-

вѣски, прилегавшей к окну: в темных полях стремительно пролетали назад тускло освѣщенные полустанки. Иногда вырвавшійся из темноты встрѣчный поѣзд, оглушив сатанинским грохотом и свистом, заставлял поспѣшно бросить край занавѣски, зажмурить глаза и откинуться назад. Испуганными стаями взвивались за стеклом искры. Каждый раз при такой встрѣчѣ было у меня в первые моменты ощущеніе внезапно обрушившейся катастрофы. И только, когда паровоз и передніе вагоны были уже далеко, я рѣшалась опять приподнять край занавѣски. Хотѣлось успѣть что-то увидѣть, уловить из жизни хотя бы послѣдних вагонов этого встрѣчнаго поѣзда.

Словом, первые дни путешествія на Кавказ принесли уже знакомыя прежде впечатлѣнья. Но третій день принес что-то совсѣм новое.

Я проснулась на разсвѣтѣ от того, что поѣзд долго стоял на мѣстѣ. Только изрѣдка слышны были жалобные, протяжные гудки и легкое громыханье цѣпей, при едва замѣтном движеніи вперед и снова осѣданіи назад.

Я посмотрѣла в окно и ахнула.

Мы стояли в степи. Огромные, сиренево-голубые колокольчики, каких я никогда нигдѣ не видала, покрывали эту степь вперемежку с легкими, перистыми, розовыми колосьями высоких, густо вьющихся трав. Я попросила маму пу-

стить меня на площадку. Мама накинула на меня халатик, провела гребенкой по моим волосам и позволила выйти из купе. Нѣсколько заспанных пассажиров в дорожных пижамах и халатах, покуривая и позѣвывая, похаживали вдоль окон вагона; степь подползала здѣсь почти к самой насыпи своей роскошной, цвѣтущей травой. Я постояла нѣсколько секунд на площадкѣ, вдыхая мед и полынь.

— Погуляйте, барышня. Еще минут восемь, а то и десять простоим, — сказал мнѣ толстый добродушный кондуктор, проходя через площадку в сосѣдкій вагон.

Я соскочила к гулявшим пассажирам.

Впереди, на горизонтѣ, на границѣ серебристо-сиреневой степи с розовым утренним небом, кое-гдѣ уже виднѣлись очертанія гор.

Кавказ был близко.

IX

НА МИНЕРАЛЬНЫХ ВОДАХ

Пансіон, в котором мы поселились в Желѣзноводскѣ, был расположен на склонѣ высокаго зеленаго холма. С него были видны бѣлыя колонны и башенки, террасы с рѣзными баллюстрадами и плоскіе, как бы примятые купола дворца эмира Бухарскаго. Днем глаз различал даже поросли мелких роз и мозаику на зали-

тых горячим бѣлым свѣтом стѣнах дворца; ночью же, при лунѣ, он казался почти призрачным, сохраняя одни лишь четкіе легкіе контуры. Изумительна была бѣлизна его на фонѣ глубокой синевы низкаго, безоблачнаго неба и зелени окружавших его садов! Одуряющіе горьковатые ароматы этих садов текли вниз, в лощину, к городскому парку и поднимались до балкона нашей скромной дачи на отлогом пригоркѣ против дворца.

В паркѣ я часто встрѣчала у источников или на музыкальной площадкѣ смуглых, одѣтых в роскошные халаты, с чалмами или тюбетейками на головах, в серьгах и в браслетах, восточных людей из свиты эмира. Они были медлительно-вкрадчивы в походкѣ, в движеньях, и вмѣстѣ с тѣм полны какой то важности. Жгучесть и острота их глаз особенно подчеркивалась чернотой зрачков и перламутровам блеском миндалевидных бѣлков. Бухарцы ходили по парку небольшими группами. Публика не без любопытства их разглядывала, все же нѣсколько сторонясь и стараясь не быть назойливой. Но дѣти, пораженныя их фантастическими, богатыми одеждами, смоляными или красно-рыжими бородами, гортанным говором, — часто теряли всякое самообладаніе! Преодолѣвая нѣкоторый страх перед этими особенными существами, онѣ совались им буквально под ноги, чтобы получше разглядѣть их. Бухарцев

это нисколько не смущало. С блеском нѣкотораго озорства в глазах, они останавливались и, усмѣхаясь, позволяли себя разглядывать, как диковину. Иногда они протягивали дѣтям свои дорогія четки, переброшенныя через кисти смуглых, по-обезьяньему волосатых рук. Иногда угощали имбирными конфетами.

Для меня эти загадочные люди казались персонажами фантастическаго спектакля, вродѣ «Багдадских пирожников» или «Калифа и разбойника»

К горам я очень скоро стала относиться, как к моим добрым привычным знакомым. С балкона отчетливо были видны всѣ пять голов Бешту и неуклюжая Верблюд-гора. Я просила маму позволить мнѣ подняться с экскурсантами хотя бы на самую низенькую, послѣднюю горку в цѣпи Бештау, но мама отказала. Да и экскурсіи совершались только на самую высокую и трудную по подъему гору. У вершины ея в ясные дни можно было различить в бинокль зданіе гостиницы а по тропинкам, ведущим к ней, движущіяся вразбродку черныя точки — фигуры экскурсантов. Часто будила меня мама на разсвѣтѣ посмотрѣть с балкона на Эльбрус — сахарно-бѣлый, покрытый кое-гдѣ разовыми тѣнями. Далекій и призрачный, он, казалось, вот-вот разойдется паром, растает в лежащих у его подножья легких, растянутых, тоже розоватых от утренней зари облаках. За

все лѣто мы с мамой только один раз поднялись на Желѣзную гору. На вершинѣ ея у ресторанчика отдыхали на песчаной площадкѣ; вровень с нами вилась подгоняемая вѣтерком сѣро-молочная мгла. Глубоко под нами косогоры, овраги, полосы шоссе и самый Желѣзноводск — как огромная бѣлѣющая плѣшь, пробитая чущѣ лѣсов у подножья в горы. На ней мы ясно различили зданіе курзала и казенной гостиницы. Но наша дача, как мы ее ни искали, затерялась в темной зелени парка за дворцом эмира.

* * *

В Желѣзноводскѣ мнѣ, как и другим пріѣзжим, пришлось вскорѣ стать «курсовой больной». Доктор назначил мнѣ цѣлое леченіе: принимать хвойныя ванны и два раза в день пить «грязнушку» — теплую желѣзистую водичку из нижняго источника в паркѣ.

Я с дѣловым видом спускалась утром и вечером к павильону «грязнушки». Молоденькая дѣвушка в бѣлом фартукѣ, с накрахмаленным чепчиком на головѣ подходила к барьеру, отдѣлявшему источник от публики.

— Которая ваша кружка?

— Вон там, наверху, сиреневая, с желтым бантом на ручкѣ и с сиреневой трубочкой, — говорила я, указывая в ряды хорошеньких ка-

рядных кружек на полках внутри павильона.

Здѣсь же, у источника, на просторной песчаной площадкѣ меня постоянно поджидала цѣлая гурьба таких же, как я, «діаболисток». Это страшное прозвище мы носили за игру в «діаболо». Каждое утро спускались мы сюда с сѣткой, в которой хранилась большая резиновая катушка с узким стальным перехватом — («таліей») посрединѣ. Кромѣ катушки в сѣткѣ лежали еще двѣ крѣпкія, гладко отполированныя, длинныя палочки, соединенныя шелковым шнуром. Игра, или вѣрнѣе, спорт заключался в том, чтобы, держа свободные концы палочек в руках и все время перебирая ими, удерживать катушку в равновѣсіи на скользком шнуркѣ. «Разогрѣв», или, попросту говоря, разогнав катушку по шнуру, мы подбрасывали ее в воздух, как можно выше. Иногда она становилась почти невидима для глаз; потом, постепенно, темной точкой спускалась с высоты. Опредѣлив чутьем и зрѣніем, куда она должна была упасть, мы ловили ее на напряженно вытянутый шнур. Эта игра требовала много ловкости и увѣренности. Мы напрактиковались, дошли до виртуозности, и не только без промаха ловили катушку с высоты, но научились отбивать ее шнуром вверх рѣзкими ударами до 50-ти или 60-ти раз, танцуя на мѣстѣ, от напряженія подскакивая, вскрикивая. Такія смѣлыя «діаболистки» перед началом состязанія

просили всѣх дѣтей посторониться, не лѣзть под ноги.

— Уроню тебѣ на нос, тогда наплачешься, — предупреждали мы особенно любопытствующих малышей.

Но настоящим наказаніем для нас были взрослые: они не слушались, да и сказать им построже мы не смѣли. Они так обступали нас, так волновались за нас, что не давали нам возжности хорошенько разойтись! И, подскакивая, подтанцовывая в погонѣ за уклонявшейся в своем паденіи от прямой линіи катушкой, мы часто наступали им на ноги, сталкивали их с мѣста, дѣлали неловкія движенія, боясь, что кто-нибудь пострадает при неудачном паденіи катушки.

Тетя в то лѣто прислала мнѣ из Женевы особенно элегантное и дорогое діаболо. И тут произошла бѣда. Во время одного необычайно жаркаго утренняго состязанія моя тяжелая женевская катушка с огромной высоты упала на поля соломенной шляпы какой-то «любопытствующей» модницы. К счастью, это событіе никакого увѣчья дамѣ не принесло, но возбудило невольно всеобщій смѣх, когда широкія соломенныя поля шляпы вдруг провалились ей через голову, как хомут... Дама назвала меня противной дѣвчонкой. Я сдѣлала ей реверанс и сказала, что я не виновата — не надо было так близко подходить к нам! Публика поддержала

меня. Тогда, раздосадованная общим заступничеством за меня, дама назвала меня еще и нахалкой. Я заплакала и отошла. Вмѣшалась мама. Подошла к «пострадавшей», стала просить извинить меня, взялась отвѣтить за понесенный убыток, и только мягко прибавила: «но Вы, все-таки, сами были немного неосторожны». Потом, к общему неудовольствію, отняла от меня діаболо и заставила еще раз подойти с реверансом к дамѣ. Икая от сдерживаемых всхлипыванiй, я послушалась. Дама меня простила, стала любезничать с мамой и, пряча под мышкой разбитую как старая лохань шляпу, пошла вмѣстѣ с мамой от источника наверх, к музыкальной площадкѣ. Я тихо плелась по краю дорожки с пустой сѣткой от діаболо. В нѣкотором отдаленіи от меня шли перешептываясь другія дѣвочки. Они даже игру бросили ради меня, явно мнѣ сочувствуя. Ни мама ни «пострадавшая» дама ни разу не повернулись в мою сторону. На музыкальной площадкѣ онѣ разстались. Мама подозвала меня.

— Конечно, она сама виновата, — сказала мама. — Но ты — дѣвочка, а она взрослая. Ей обиднѣе, чѣм тебѣ, всякая собственная оплошность. Из-за того, что ты лишнiй раз извинишься, с тобой ничего не случится. Научишься держать себя в руках. Не защищать же собственную дочь на людях. Так приличнѣе, понимаешь?

— Понимаю, — отвѣтила я. — А діаболо ты мнѣ все-таки вернешь?

— Конечно, верну, но играть будешь дома. Не к чему всѣ эти состязанія. Только азарт и тщеславіе развивают. Я давно против них. Играй за домом под вечерок одна, если хочешь. Неутомительно и неопасно.

— За то и совсѣм неинтересно играть без подругъ, — со вздохом отвѣтила я.

И на другой же день предпочла игрѣ в діаболо — гигантскіе шаги...

* * *

А моими новыми подругами по Желѣзноводску были такія же, как я, гимназистки 11-ти или 12-ти лѣт. Все это были русскія дѣвочки, пріѣхавшія с родителями из Петербурга или из Москвы. Армянских дѣтей было много—и в паркѣ, и даже въ нашем пансіонѣ. Но я почти не бывала среди них. Языка их я не понимала. Правда, чтобы быть понятными мнѣ, онѣ переходили на русскій язык — и все-таки я не могла с ними сойтись. Их вкусы, привычки, характеры были слишком чужды мнѣ. Получалось так: в русской казенной гимназіи я всегда чувствовала себя «чужаком» по крови, а вмѣстѣ с тѣм была тѣсно связана со всѣми дѣвочками одинаковым духом, одинаковым домашним бытом, привычками, интересами, вкусами.

Здѣсь же, на Кавказѣ, вглядываясь в лица армянских дѣтей, слушая иногда их пѣніе, я, несмотря на всю свою бытовую отчужденность, чувствовала именно эту «кровь». 'Не разбирая слов их пѣсен,—я отвѣчала на них совсѣм особенным горячим біеніем пульса в груди, а временами ощущала такую обреченную восточную тоску — особенно сильную в невыносимо-знойные, однообразные, унылые кавказскіе полдни, — которая была бы совсѣм непонятна для моих петербургских подруг.

И все-таки жить среди родных мнѣ по крови я бы не смогла. Общаяся ними, я как-то сразу становилась старше, скучнѣе себѣ самой, и даже, как будто, еще болѣзненнѣе... С облегченной радостью бѣжала я от них к бѣлокурым русским дѣвочкам, которыя, казалось, особенно любили меня именно за то, что я всегда была для них чуть-чуть «чужаком».

X
ДВѢ БАБУШКИ

К концу іюля пріѣхала из Москвы бабушка. Она привезла с собой горничную Стешу и заняла с ней два хороших номера в казенной гостиницѣ.

Мы часто заходили за бабушкой, чтобы идти вмѣстѣ на источники или в ванны. Тогда она медленно плыла впереди, придерживая и

оберегая от пыли подол своего темнаго батистоваго платья, прикрываясь от солнца большим синим зонтом, который мы с мамой прозвали «фамильным». Вот на этих-то прогулках с бабушкой и выросло в моей рѣзной шкатулкѣ изобиліе нарядных бездѣлушек-подарков для сестер, для Неши, для прислуг и подруг.

Проходя в паркѣ мимо открытых павильончиков с кавказскими сувенирами, бабушка часто останавливалась перед прилавками, за которыми стояли продавцы — итальянцы или персы. Впрочем, итальянцы больше продавали свои товары в разнос, раскидывая перед публикой прямо на аллеѣ или на скамейкѣ кожаные чемоданчики и ларцы. Чего в них только не было! Аметистовыя подвѣски, янтарныя ожерелья, четки и мундштуки! Кавказскіе браслеты, — серебряные с черными инкрустаціями, голубые мозаичные медальоны-брошки в видѣ изогнутых кинжалов!

У персов-торговцев вся внутренняя стѣна магазинчика бывала обыкновенно увѣшана желтыми, красными и голубыми шарфиками с разбросанными по основному тону шелка крупными бѣлыми шарами или зигзагами. И был этот шелк таким легким и податливым, что продавец сначала раскидывал его во всю длину, а потом предлагал медленно сжать его в ладони, в которой он цѣликом и умѣщался.

Особенно хороши были ковры и бухарскіе

халаты, но, конечно, ни тѣх ни других бабушка мнѣ не покупала. За то в моем шкафу хранилось нѣсколько пар кавказских туфель—бархатных, расшитых серебром — пестрое шелковое покрывало и, конечно, нѣсколько персидских шарфов.

Однажды при покупкѣ такого шарфа произошла со мной необыкновенная вещь: знакомство с двумя загадочными бухарцами из свиты эмира. Бабушка, стоя со мной у магазина, накинула мнѣ на голову оранжевый шарф. Шарф скользнул с головы, растекся по моим плечам и почти до колѣн закутал меня со всѣх сторон.

— Ну-ка, посмотри на меня, — сказала бабушка и сама повернула к себѣ двумя пальцами мою голову. За спиной бабушки я увидѣла двух черных людей, которые, внезапно остановившись у прилавка, засмотрѣлись на нас.

— Этот оранжевый оставишь себѣ, — сказала бабушка, а тотъ, который я тебѣ подарила раньше, отдашь кому-нибудь из сестер. Этот тебѣ больше идет. Ну-ка, посмотри на меня еще.

Я опять подняла на бабушку глаза и вдруг поймала на себѣ такіе острые внимательные взгляды бухарцев, что в смущеніи опустила голову. Бабушка сейчас же обернулась и тоже увидала бухарцев.

— Красиви дэвушко, — неожиданно сказал ей по-русски один из бухарцев.

— Какая она дѣвушка, ей только двѣнадцать лѣт, — отвѣтила недовольным тоном бабушка.

— Я знаю, что очень молодой, — опять сказал бухарец. — Ви кто такой? — спросил он необыкновенно ласково, уже обращаясь прямо ко мнѣ.

— Армянка, — отвѣтила я, чуть не в страхѣ от этих ласковых и внимательных глаз.

— Непохожа... Я думал Дагестан... — медленно отвѣтил он.

— Папа из Дагестана, — опять отвѣтила я через силу, не совсѣм точно зная, должна ли я этим черным людям отвѣчать так же вѣжливо и охотно, как полагается вообще отвѣчать старшим.

Но тут бабушка опять рѣшительно повернула меня за плечо лицом к прилавку, поспѣшно достала из низкаго кармана муаровой юбки портмонэ и попросила продавца завернуть мнѣ оранжевый шарф.

Я сдѣлала в сторону бухарцев реверанс; бабушка им сухо поклонилась, и мы пошли дальше.

— Ничего в тебѣ красиваго нѣт, — бормотала бабушка. — Глаза, как у жука, нос длинный и сама тоненькая, как ... как селедка — совсѣм уже недовольно добавила она. — Каждый дурак будет комплименты говорить — воображать начнешь то, чего нѣт... Все это ерун-

да, понимаешь?

— Понимаю, — отвѣтила я.

Все-таки очень хотѣлось мнѣ помѣрить оранжевый шарф без бабушки, без страшноватых бухарцев, одной, перед зеркальным шифоньером в нашей комнатѣ.

Так я и сдѣлала

* * *

А вскорѣ пріѣхала в Желѣзноводск бабушка Дагестанская — папина мама.

Ранним утром бабушка Московская, мама, я и Стеша поѣхали на парном фаэтонѣ на вокзал. Я плохо помнила бабушку Дагестанскую с дѣтства и знала ее больше по портрету, висѣвшему в папином кабинетѣ. Но портрет этот был писан много лѣт тому назад, и я думала, что теперь вряд ли узнаю ее на вокзалѣ. Когда подошел поѣзд, мама, оставив нас в сторонкѣ, побѣжала вдоль вагонов, заглядывая в окна. И вдруг, когда она отбѣжала довольно далеко к хвосту поѣзда, на площадкѣ вагона третьяго класса, остановившагося прямо против нас, показалась еще не старая женщина в армянском національном головном уборѣ. Только бѣлая фата из-под тѣснаго бархатнаго обруча на головѣ свисала короче, чѣм ее носят обыкновенно, вѣроятно, кое - гдѣ подколотая булавками.

Черные ровные, как неживые, локоны обрамляли с обѣих сторон блѣдное, немного отекшее лицо. Но черты его были так же классически прекрасны, как на портретѣ, большіе темные глаза так же глубоки и лучисты, узенькія прямыя брови так же скорбно приподняты над переносицей. Я сразу признала в ней бабушку Дагестанскую.

Пока обѣ бабушки цѣловались и по-армянски что-то растроганно причитали, я сбѣгала за мамой и вернула ее. Мама сейчас же подозвала носильщика взять со ступенек площадки некрасивый, пестрый узел. Пыльный ручной саквояж бабушки взяла Стеша. Мы пошли к фаэтонам.

— Ты будешь жить у меня, — распорядилась бабушка Московская. У меня двѣ комнаты. Мѣста хватит.

Бабушка Дагестанская молча и смущенно поклонилась и сѣла в фаэтон, торопливо подбирая черныя, ситцевыя, в горошинку, юбки.

— Если хотите, можете и у нас остановиться, — сказала мама. — Мы будем страшно рады, правда? — прибавила она, уже обращаясь ко мнѣ.

Я так залюбовалась бабушкой, что даже ни слова не произнесла и только обрадованно закивала головой. Бабушка ласково засмѣялась и тихо сказала что-то по-армянски, наклонив голову сначала в бабушкину, а потом в нашу

сторону.

— Нѣт, нѣт, ко мнѣ! — категорически заявила бабушка Московская.

В двух фаэтонах мы поѣхали в казенную гостиницу пить у бабушки Московской кофе.

А кофе у нея всегда был очень вкусный. Как-то особенно умѣла она его варить, и не жалѣла разбавлять его густыми желтоватыми пѣнками каймака.

За кофе разговор шел по-армянски, и потому я как бы в нем не участвовала вовсе. И только нѣсколько раз, когда произносилось имя папы, я настораживалась и ловила на себѣ грустный, ласковый и какой-то «припоминающій» взгляд бабушки Дагестанской.

Мнѣ казалось, что она мысленно сравнивала мое лицо с лицом папы, хотя и не хотѣла этого показать.

— Ну, как тебѣ, Лизок, внучка нравится? — спросила, наконец, по-русски бабушка Московская, чтобы дать и мнѣ возможность понять отвѣт.

Бабушка Дагестанская протянула руку к моей головѣ и с трудом произнесла:

— Его папу похож... Папу молодой совсѣм похож... — и опять смущенно замолчала.

— Она, вѣдь, тебя очень любит... хотя почти и не знает совсѣм... Портрет твой ей всегда нравился, и радовалась она, когда ты ей армянскія сладости из Дагестана посылала... А

главное, вѣдь лучше папы никого на свѣтѣ нѣт... А ты его мать. Этим все сказано, — полушутливо, полусерьезно прибавила бабушка Московская.

— Менэ чэго лубить! — запинаясь, отвѣтила Лизавета Егоровна, и мнѣ показалось, что она подавляет слезы... — Ви его, Мари Степановна, много помогать... Добра бабушка! Я чего могу, неграмотни бѣдни старух из Темир-Хан-Шура! Его образованій маленькій баришни из Петербург... Какой разница... — И вдруг добродушно, весело разсмѣявшись, быстро, с дѣтскими интонаціями, заговорила по-армянски.

Когда мы с мамой шли по парку домой, я видѣла, что мама растрогана пріѣздом бабушки Дагестанской и потому молчит.

Молчала и я, размышляя о многом...

Почему бабушка Дагестанская называет бабушку Московскую Маріей Степановной, а та ее Лизок? Вѣдь онѣ обѣ старушки? Почему, когда мама поцѣловала бабушкѣ Дагестанской руку, та смущенно отдернула ее и поцѣловала маму в плечо, а потом уже обнялась с ней? Почему она даже со мной и со Стешей разговаривает так, как будто чувствует наше превосходство в чем-то перед ней? Почему не высказала ни одного желанія, гдѣ и как ей устроиться? Почему даже не заинтересовалась тѣм, куда и как размѣстить свои скромные пожитки, внесенные в комнаты бабушки Маріи Степановны? Почему

испуганно и вопросительно взглядывала на Стешу всякій раз, когда та называла ее «барыней»?

— Вѣроятно, из-за сознанія своей бѣдности, необразованности, — думала я. — Но, вѣдь, она, такая красавица, неужели не привыкла с молодости понимать, что ею любуются? Повидимому, нѣт... Есть в ней еще что-то, выдѣляющее ее среди других: сознаніе какой-то своей вины. Это видно и в выраженіи глаз, и в желаніи быть все время незамѣтной, не обременять никого своим присутствіем.

Домой я пришла, окончательно влюбившись в тихій скромный образ красавицы-бабушки, и дождаться не могла, когда наступит вечер и мама пошлет меня в Казенную гостиницу, чтобы идти провожать старушек в парк на прогулку.

XI

СЕМЕЙНОЕ ТОРЖЕСТВО

Ко дню Ангела бабушки Московской мы готовились довольно долго. Бабушка выразила желаніе провести его не у себя в гостиницѣ, а гдѣ-нибудь в семейном домѣ, у друзей или родственников. Она щедро отпустила мамѣ денег на большое угощеніе гостям, на музыкантов, на цвѣты и даже мнѣ на національный ко-

стюм, в котором она хотѣла видѣть меня в этот день.

Мама распорядилась отпраздновать день бабушкиных именин у дальней родственницы, тети Гени. Тетя Геня была отличная хозяйка; особенно хорошо знала она національныя блюда, понимала толк в кавказских винах и умѣла дѣлать самые замысловатые печенья и пироги.

Мнѣ заказали національный костюм, от котораго я была в большом восторгѣ.

На первой примѣркѣ я радовалась «своей осиной таліи» в темнозеленом длиннополом бархатном бешметѣ, перетянутом золотым пояском. На второй примѣркѣ бешметик обтянули в таліи еще туже, спустили от пояса свѣтло-кирпичный, расшитый темным золотом, тоже бархатный, передник и помѣрили головной убор. Он был довольно сложен. Сначала опустили на лоб тѣсный бархатный обруч, с прикрѣпленной к нему длинной, ниже колѣн, бѣлой фатой. Поверх фаты надѣли маленькую тяжелую шапочку из жемчужных бус и накинули золотистый парчевый платочек, оставлявшій, однако, открытой коронку жемчужной шапочки и надо лбом и с боков.-Так как к примѣркѣ волосы у меня не были завиты, то мама попросту шутливо спустила мнѣ на уши двѣ распущенныя космы, над которыми мы обѣ очень смѣялись. Но я потребовала, чтобы к торжественному дню волосы были уложены такими

же ровными локонами, как у бабушки Дагестанской.

В день бабушкиных именин нам хотѣлось развлечь ее чѣм-нибудь особенным. Долго мы с мамой совѣтовались. Но скоро прiѣхала из Пятигорска и сама тетя Геня — крикливая, неспокойная, добродушная, веселая армянка, говорившая по-русски немногим лучше бабушки Дагестанской. Она все разом разрѣшила.

— Ванюшя, Гаврушя, Храчья, Санадухта — всэ мои дэти будут на корточки вокруг сидѣть, и только один такой слово пѣть: Хингала, Хингала, Хингала! Один слово — и один нота! Ти будешь посэрэдинѣ круга один стоить, самый красивый армянски пэсня пэть... Вот так пэть... слушай...

Тетя Геня встала посреди комнаты и хрипловатым напряженным голосом запѣла по-армянски.

Поза ея — по началу неестественно героическая, наподобiе наполеновской — мнѣ показалась такой смѣшной, что я прыснула мамѣ в плечо. Мама строго на меня посмотрѣла и отвела мою голову от своего плеча.

— Веди себя прилично, — шепнула она мнѣ.

А «Наполеон» стал понемногу измѣнять своей неестественной позѣ. Лицо дѣлалось все милѣе, грустнѣе и проще. Руки сами упали вдоль туловища в складки юбки. Тетя прикрыла глаза, голос ея прояснился, в нем зазвучали глубо-

кія, мягкія, чистыя ноты.

Мнѣ уже вовсе не было смѣшно. Коротенькая, толстенькая, суетливая тетя Геня стала почти пластичной и задумчиво-трогательной. Мама принялась подпѣвать ей, вмѣсто хора: Хингала, Хингала, Хингала. Я вступила за мамой. Тетя Геня одобрительно кивнула нам головой и с еще большим увлеченіем стала продолжать чудесную, скорбную мелодію, такую выпуклую на фонѣ нашего аккомпанимента на одной нотѣ.

Вдруг тетя Геня оборвала пѣсню, быстро повернулась к нам и опять невыносимо-крикливо и быстро, безжалостно по отношенію к только что пропѣтой трогательной мелодіи, заговорила:

— Я говору: Ванюшя, Гаврушя, Храчья, Санадухта будут, как вы оба сейчас, только Хингала пэть. Ти главни голос один будэшь посэрэдыни комнаты пэть... Поняла!

Мама взяла карандаш, нотную бумагу, и записала за тетей Геней мелодію и слова. Потом объяснила мнѣ содержаніе каждой строчки и написала армянскія слова русскими буквами.

На слѣдующій же день мы с мамой, спустившись к роялю в салон и плотно закрыв двери, чтобы не возбуждать любопытства других жильцов, стали разучивать пѣсню.

В день именин бабушки я с ужасом думала о том, что мнѣ придется надѣть тяжелое бархатное платье — жара выдалась в тот день не-

стерпимая!

Мама посовѣтовала до вечера оставаться в легком кисейном платьѣ и только перед самым ужином переодѣться; исполнив же свой номер, остаться в національном костюмѣ (если захочет бабушка Марія Степановна) до ночного поѣзда, с которым мы должны будем вернуться в Желѣзноводск. Я согласилась.

Торжество началось в 11 часов утра, — в комнатах, с притворенными от солнца ставнями, в духотѣ и полумракѣ. К обѣду всѣ вышли в садик, гдѣ под двумя развѣсистыми каштанами, возлѣ кустов дикаго шиповника, стояли сдвинутые в ряд столы со стульями, табуретами и даже садовыми скамейками.

Я едва на ногах держалась от жары, от гула голосов, от визга дѣтей — юрких, черномазых, шумливых — от всей этой совсѣм чуждой мнѣ обстановки. Мама, чтобы подбодрить меня, нѣсколько раз ко мнѣ подходила и, когда всѣ стали разсаживаться за столом, разрѣшила мнѣ сѣсть со взрослыми.

Красивый, еще не старый адвокат из Баку, щегольски одѣтый и по манерам напоминавшій скорѣе петербуржца, спросил маму о чем-то по-армянски, указывая глазами на меня.

Мама отвѣтила по-русски:

— Хорошо, пусть сядет с вами, если вам не будет скучно с такой глупенькой сосѣдкой.

Адвокат вскочил, быстро пододвинул мнѣ

стул, и при этом его движеньи я замѣтила, что он хромой. Во время обѣда он говорил со мной по-русски, смѣшил меня и обмахивал соломенным вѣером, который через стол передали мнѣ от бабушки, обезпокоенной моим разморенным видом.

Обѣд длился около трех часов. Послѣ длинной вереницы кавказских острых закусок, рыбы, долмы, шашлыков и вин бабушка Марія Степановна первая встала из-за стола. Оправляя на плечах черную кружевную шаль, она нѣсколько раз поклонилась гостям, поблагодарила их, предложила «отдохнуть» до чая и сама направилась к дверям в заднія комнаты. Там ее уже ждала, в темнотѣ от наглухо затворенных ставен и в свѣжести от растянутых вдоль комнаты для прохлады мокрых полотняных простынь, раскрытая постель. Я еще не успѣла мысленно позавидовать ей, как бабушка повернулась и подозвала меня пальцем.

— Пойдем со мной. Нечего тебѣ уставать. Еще цѣлый вечер впереди.

Бабушка легла на кровать. Добрая тетя Геня притащила мнѣ тюфячок с «Гаврушиной» кровати и бросила его на пол, покрыв пикейным одѣялом.

Бабушка вскорѣ тревожно и настороженно захрапѣла. Я на цыпочках, стараясь не шумѣть, раздѣлась, повѣсила на спинку ея кровати мое платьице и легла на тюфячок.

Когда мы с бабушкой снова вышли в сад, — уже смеркалось. Дѣтвора и взрослые заканчивали развѣшивать пестрые бумажные фонарики, скользившіе на зеленых шнурах, протянутых между деревьями.

На травѣ раскладывали по порядку пакетики с фейерверками, разсчитывая оставить самые эффектные под конец. Столы, покрытые пестрыми скатертями, разукрашенные цвѣтами, были приготовлены для чая.

Тетя Геня и еще нѣсколько дам суетились возлѣ них, разставляя сахарницы, вазы, граненыя блюда с миндальным и песочным печеньем, с пирожными, с кизиловым, имбирным, яблочным вареньем, с домашними тортами, с сушеными и засахаренными фруктами и пастилой.

Посреди главнаго стола на серебряном подносѣ, свисая тяжелыми краями на скатерть, убранный виноградными листьями, — лежал огромный крендель. Он носил форму армянскаго «М» — начальной буквы бабушкинаго имени. Бабушка тщательно оглядѣла столы и осталась ими довольна.

Пріѣхали музыканты (они же танцоры) в бешметах, в мягких сафьяновых высоких сапогах. Ходили они по аллеям сада безшумно и по-кошачьи вкрадчиво-граціозно.

Жара спала. Даже подул вѣтерок, зашелестѣв бумажными фонариками над нашими головами. Мама сказала, что теперь мнѣ уже по-

ра надѣть мой тяжелый бархатный костюм.

Одѣвалась я в той же задней комнатѣ, гдѣ отдыхала послѣ обѣда. Туда внесли большое зеркало. зажгли всѣ лампы. Храчья и Санадухта, охая и вздыхая от восторга, помогали мнѣ одѣваться.

Мама осторожно высвободила из-под широкой розовой ленты, которая до сих пор кокошником покрывала мою голову, подколотые шпильками локоны. Осторожно расчесала, расправила их и, скрутив гребенкой в равныя свѣчки, выпустила — по три на каждую щеку. Потом она плотно укрѣпила на головѣ весь замысловатый головной убор.

Сердце у меня билось учащенно и безпорядочно. На скулах горѣли красныя пятна. В глазах что-то жгло, и что-то словно пульсировало у самых вѣк.

Я чувствовала себя счастливой в своей обреченности на одинокое, таинственное и отважное дѣло — пѣнье на людях.

XII

НЕМНОГО О ПѢСНѢ

С одиннадцатичасовым поѣздом мы возвращались в тот вечер в Желѣзноводск: мама, бабушка Дагестанская, я и нѣсколько знакомых, живших тоже в Желѣзноводскѣ.

Именинница-бабушка со Стешей остались

ночевать у тети Гени. Тетя уговаривала и меня остаться до утра в Пятигорскѣ. Она предлагала даже пожить у нея нѣсколько дней, но мнѣ не захотѣлось разставаться с мамой и с бабушкой Лизой. В. отвѣт на тетино радушье я так жалобно посмотрѣла ва маму и наморщила нос, что мама, едва сдержав смѣх, отказалась за меня самым рѣшительным образом.

В вагонѣ было свѣтло и шумно, несмотря на поздній час. Однако, урывками, я дремала, роняя голову то на мамино, то на бабушкино плечо. Потом опять выпрямлялась на диванѣ, широко, напряженно раскрывала вѣки и старалась внимательно прислушиваться к разговорам, чтобы отогнать сон.

Было неловко, что наискось от меня сидит хромой элегантный адвокат и, улыбаясь, слѣдит за моей борьбой со сном. Наконец, бабушка Лиза не выдержала этой борьбы. Она притянула меня к себѣ, положила мою голову на свои колѣни и закрыла от свѣта мнѣ глаза своими маленькими пухлыми ладонями.

Настоящаго сна не было. Была дремота и обрывки воспоминаній от только что пережитаго. И было много, много мыслей, в которыя хотѣлось углубиться, уйдя от окружающаго шума.

Я вспоминала себя стоящей в національном костюмѣ, поодаль от гостей. Пестрые гофрированные фонарики освѣщали меня самое и все

вокруг меня таинственным розоватым свѣтом. На травѣ сидѣли на корточках дѣти. Они первые начали жалобное монотонное пѣнье. Потом вступила я со своим соло. Сначала трудно было пѣть — от біенія сердца гдѣ-то высоко, под самым горлом. Трудно было и спокойно стоять на мѣстѣ от дрожи внезапно ослабѣвших ног. Но послѣ перваго куплета я овладѣла собой.

Сколько раз я читала в книжках о каком-то вдохновеніи, в котором человѣк будто бы забывается и не видит ничего вокруг себя. Но уже и тогда я не могла себѣ представить, как это можно вдруг перестать видѣть окружающее? Значит ли это потерять сознаніе? Внезапно превратиться в «одержимую»? В «кликушу», какую я видѣла раз в дѣтствѣ? Тогда, по книгам, я не могла вѣрить этому состоянію и, во всяком случаѣ, никак не могла ему позавидовать. Теперь же мнѣ было ясно, что все это— ломанье и чепуха.

Если бы я во время пѣнья не видѣла перед собой полураскрытаго по-дѣтски рта бабушки Дагестанской и ея растроганнаго лица, — развѣ я смогла бы так растроганно пѣть, увлекаясь сама? Если бы я не видѣла, как поет хор черноголовых дѣтей, закрыв глаза, откидывая головы и как будто причитая, — развѣ я почувствовала бы, что пѣсня эта должна звенѣть болью? А взгляд мамы на меня издали, из-за

чьей-то спины, — немного тревожный и все-таки надѣющійся на меня? Я чувствовала, что от мамы шел почти приказ мнѣ: спѣть хорошо. Все это помогало, а не мѣшало мнѣ... И как я слушала в дѣтствѣ сказки, не отдѣляя их от уюта моей комнаты, — так я наслаждалась теперь своей пѣсней, не отдѣляя ее от таинственнаго свѣта фонариков над головой, от того радостнаго чувства, что костюм на мнѣ хорош и сама я в нем гораздо красивѣе и старше, чем на самом дѣлѣ...

Пѣсня переплеталась с праздничной торжественностью тѣх минут, когда я ее исполняла, и от этого я чувствовала себя радостно-спокойной и правдиво-увѣренной... Ни за что бы не промѣняла я эту правду на какое-то дѣланное «вдохновенье», при котором человѣк будто бы ничего вокруг не видит и не слышит... Приблизительно так думала я в поѣздѣ, прикурнув на колѣнях у бабушки.

Иногда эти мысли прерывались безпорядочными сновидѣньями, в которых мелькали хищныя ловкія движенья из пляски рябого черкеса с кинжалом в зубах или медленная плавная «узундара», которую по просьбѣ гостей станцовала — на удивленіе хорошо! — толстенькая тетя Геня. Иногда вспоминались звуки зурны, обрывки интонацій и возгласов из безчисленных тостов на армянском языкѣ, которых я наслушалась за ужином. Вспоминался даже вкус пече-

ній, пастилы и пирогов или запах дынь, цвѣтов, духов... Голова кружилась от всѣх этих впечатлѣній...

И вдруг... гдѣ-то совсѣм близко раздалась русская пѣсня. Сочный, молодой, густой бас запѣл уже наяву:

«Ты пойди, моя коровушка, домой,
«Ты пойди, моя недоенная».

Я вскочила.

— Мама, поют?

— Поют, дѣвочка. Русскій булочник на площадкѣ вагона поет...

— А как чудно! Можно мнѣ пойти посмотрѣть на него?

— Пойдемте со мной, — покровительственно сказал адвокат, вставая с дивана.

— Только пожалуйста, Александр Захарович, осторожно. Закрыта ли наружная дверь? — сказала мама.

— Не безпокойтесь. Все будет в порядкѣ,— отвѣтил адвокат и, придерживая меня сзади за локти, пошел со мной на площадку.

Русскій булочник в синем передникѣ, уже немолодой, неряшливо одѣтый и пьяный, полулежал на площадкѣ. Наружная дверца была настежь открыта. Голова булочника лежала на пустой опрокинутой хлѣбной корзинѣ. Лицо его было блѣдно, сосредоточенно и даже красиво. Неловко заломив руки за голову с встрепанными мокрыми полусѣдыми волосами, он свѣ-

жим, молодым, безошибочно вѣрным голосом выводил:

«Эх-ма, да калинка моя,
«В саду ягода малинка моя».

Адвокат, отстранив меня, подошел к нему ближе.

— Подберите ноги, я дверку захлопну, иначе вы свалитесь, — сказал ему адвокат.

— Не мѣшайте, барин, пѣсню допѣть, — строго отвѣтил булочник.

— «А и хата-то нетопленная!
«Малы дѣти ненакормленныя!» —

неожиданно высоким бабьим голосом допѣл он послѣднiй куплет. Лицо его тоже вдруг стало таким бабьим, что я прыснула и отступила на шаг назад, вглубь вагона.

В это время по вагону проходил кондуктор.

— Желѣзноводск, — сонно протянул он и направился к площадкѣ, на которой виден был уже стоящiй во весь рост и покачивающiйся булочник.

— Тебѣ в третьем классѣ надобно сидѣть. Куда к господам лѣзешь. Вѣдь уже не раз высаживал, — пробурчал кондуктор.

Булочник принял царственный вид. Он показался мнѣ огромным и необыкновенно величественным рядом с кондуктором... Но что-то озорное, лукавое бѣгало в его хмѣльных глазах...

— А ты вот попробуй, спой-ка по-моему,—

отвѣтил он. И даже подмигнул, по-актерски передернув плечами и закинув голову.

— Желѣзноводск, — уже с раздраженіем повторил кондуктор и прошел в сосѣдній вагон третьяго класса.

Булочник скрестил на груди руки и задумался, глядя в рвущуюся ему навстрѣчу мглу...

XIII
ПОСЛѢДНІЕ ДНИ КАНИКУЛ

Приближалось 15 августа, срок, когда нам нужно было выѣзжать обратно в Петербург.

К этому времени я уже начала особенно часто вспоминать гимназію, учителей и даже с удовольствіем просматривала по учебникам пройденное за год.

И наша квартира из Литейном проспектѣ, в ея новом видѣ, стала казаться теперь особенно привлекательной. Я вспоминала и гулкость полов, еще не покрытых по-зимнему коврами, и чуть дурманный запах нафталина от сѣрых чехлов, покрывавших мебель.

Казалось особенно пріятным засыпать в свѣтлой, в эти длинныя бѣлыя ночи, комнатѣ, при распахнутых настежь окнах. В них безпокойно врывались желтоватыя молніи проходящих трамваев, тоже совсѣм по-дневному, несмотря на поздній час, не освѣщаемых внутри.

С нетерпѣніем ждала я и встрѣчи с сестрами, уже вернувшимися, вѣроятно, с дачи из Гунгербурга; особенно с Тамаринькой, с которой нужно было подробно еще раз пережить кавказскія впечатлѣнія.

А свиданье с Нешей... с которой нужно было еще и рѣшить так многое впереди?

За лѣто мама постепенно подготовила меня к одному важному и грустному событію: к скорой разлукѣ с Нешей. Я была уже большой дѣвочкой и могла жить такой же жизнью, как Тамаринька... У меня оставался надзор мамы дома и классной дамы — в гимназіи. В мелочах же надо было привыкать быть самостоятельной.

Нешѣ предлагали очень хорошее мѣсто в семьѣ армянскаго священника. Она уже нѣсколько лѣт отказывалась, не желая оставить меня. Но ей очень нужно было побольше зарабатывать для матери и брата в Ревелѣ. Нехорошо было бы препятствовать ей в этом.

— Пожалуйста, держи себя в руках. Не горюй и не огорчай своими просьбами, жалобами, обидами Нешу, — говорила мама. — Она не жалѣла своих сил на всѣх вас, особенно на тебя. Будь благоразумной и деликатной в этом вопросѣ. Я сама понимаю, что тебѣ тяжело с ней разставаться.

Я дала слово быть «благоразумной» и рѣшила выплакаться здѣсь, заблаговременно, и

то только втихомолку.

Несмотря на всю мою любовь к Нешѣ, я знала в душѣ, что послѣ ухода из моей жизни папы я уже достаточно приготовлена к новым утратам... И странное дѣло: проливая потихоньку слезы, я ощущала даже какую-то радость примиренія с новым ожидаемым испытаніем.

Как будто навстрѣчу моей душѣ, отметая дорогое прошлое, шло что-то еще болѣе крупное, что требовало себѣ мѣста в ней...

XIV
МОЛИТВА

Наканунѣ отъѣзда я пошла в Казенную гостиницу провести послѣдній вечер с обѣими бабушками. Мама должна была придти немного позже.

Бабушку Марію Степановну я не застала дома. Она играла гдѣ-то по сосѣдству в преферанс.

— Барыня к восьми часам обѣщали вернуться. Погодите маленько, барышня, — сказала Стеша и положила мнѣ на стол соломенный вѣер с сильно пріукрашенным изображеніем Казеннной гостинницы на нем.

Я сѣла на диван, то внимательно разглядывая вѣер, то обмахиваясь им. Стеша тоже сѣла, но поодаль от меня, на огромный бабушкин сундук, покрытый ковром. На этом сундукѣ

она и спала теперь послѣ пріѣзда бабушки Лизы.

Вздохнув и досуха вытерев платком потную шею и руки до локтей, она опять принялась за оставленную работу: вязанье кружева из грубоватых и грязновато-бѣлых ниток.

— А бабушка Лиза скоро придет? — спросила я.

— Онѣ дома. У себя в комнатѣ.

Я вскочила.

— Тогда отчего же я не у нея сижу? Почему ты сразу не сказала мнѣ?

Я хотѣла уже направиться к дверям, как вдруг Стеша торопливо зашептала:

— Не надо к ним идти, барышня. Я сейчас вам объясню.

Она быстро свернула работу, отложила на сундукѣ и проткнула крючком, чтобы не размотать связанное.

Я подошла к ней и, предчувствуя «тайну», присѣла рядом с ней на край сундука.

Юркая, молоденькая Стеша с круглыми птичьими глазами была всегда преувеличенно услужливой, пожалуй, даже испуганно почтительной с господами. Теперь она в миг преобразилась в мою сообщницу или подругу.

— Бабушка у себя молятся... Ей-Богу!... Как барыня Марія Степановна уйдут из дома, онѣ спустят штору, зажгут лампадку и молятся... Утихнут там в своей комнатѣ, как в могилѣ...

Я раньше думала, спят, — потом глянула — нѣт!... Спустят соломенную штору, зажгут лампадку, и молятся... Ей-Богу!

И вдруг рот у Стеши покривился. Щечки, изсѣченныя на скулах мелкими тененькими жилками, еще болѣе покраснѣли. Глаза разом набухли слезами...

— Как молятся-то!... Хочете посмотрѣть? Я теперь всегда щелку оставляю... Ей-Богу... Им-то незамѣтно!... А потом подкрадусь и чуть-чуть пріотворю дверь... Она у нас не скрипучая... удобно... Онѣ и не знают ничего... Ей-Богу...

Мнѣ очень захотѣлось посмотрѣть, как молится бабушка Лиза, но я чувствовала, что в этом подглядываніи есть что-то и неделикатное и не совсѣм честное...

— А как бабушка молится? — спросила я шопотом, пододвигаясь к Стешѣ на сундучкѣ. — Я не буду сама смотрѣть, ты мнѣ разскажи...

— Барышня дорогая... Вы меня только не выдайте! Барыня Марія Степановна за это прогонят... Ей-Богу! И бабушку Лизу обидѣть не хочу...

— Я не выдам.

— Молятся онѣ по-особенному... как сказать — не сумѣю... Жалко чего-то, так жалко тут... — всхлипывала Стеша, показывая стиснутыми руками себѣ на грудь. — Что-й-то, барышня, как людей жалко! Всегда людей жалко... А

когда молятся — так уже особенно... Ей-Богу!

— Она не слышит нас? — спросила я, уже чувствуя, что не удержусь от подглядыванья.

— Не слышут... Онѣ вообще-то не шибко из другой комнаты слышут.

— Покажи мнѣ, — рѣшительно сказала я.

Стеша соскочила с сундука и первая направилась на цыпочках к сосѣдним дверям. Сжавшись и по-воровски замерев на мѣстѣ, она выждала минутку, напряженно глядя в щелку. Потом слегка подтолкнула дверь и отошла, сдѣлав мнѣ знак приблизиться...

В сосѣдней комнатѣ было почти темно от спущенных зеленых штор. Лампадка не висѣла под образом в углу, а стояла на высоком треножникѣ, предназначенном для вазы с цвѣтами. Треножник был отодвинут на довольно большое разстояніе от угла, в котором висѣл образ. Этот образ не был виден с моего мѣста, но я помнила, что на нем лик Спасителя в терновом вѣнцѣ... Лампадка горѣла ярко, временами чуть-чуть коптя. На полу тяжело, грузно, неудобно лежала бабушка Лиза. Голова ея была повернута от меня в сторону окон, щекой она касалась соломеннаго плетенаго коврика. Прошло, мнѣ казалось, нѣсколько минут. Мнѣ стало тревожно за нее и слишком утомительно наблюдать за ней в моей напряженной позѣ у дверей.

Я в недоумѣніи взглянула на Стешу. Она в отвѣт приложила палец ко рту, затрясла го-

ловой, отошла вглубь комнаты к сундуку...

Вдруг бабушка быстро поднялась с колѣн. Я отчетливо увидѣла в профиль ея лицо. Оно было блѣдным-блѣдным и очень озабоченным. Глядя в угол, словно видя перед собой кого-то и продолжая прерванную бесѣду, она тихо заговорила по-армянски.

Ничего похожаго на молитву не было. Она довѣрчиво, серьезно и совсѣм по-домашнему разсказывала кому-то о себѣ. Иногда останавливалась, поправлялась, переводила дыханье, как будто ожидая отвѣта от Того, Кто стоял, если не прямо перед ней, то во всяком случаѣ гдѣ-то очень близко над ней.

Безхитростно сказав все, что ей хотѣлось, она низко поклонилась и довольно громко и настойчиво повторила нѣсколько раз:

— Е тэ карели э. *

Эти слова я поняла, так как часто слышала их в разговорах между мамой и обѣими бабушками. Потом она вопросительно посмотрѣла в угол и еще раз напомнила:

— Е тэ карели э... — и так же явственно произнесла: — Ан карели э — ко камкн э.

По покорному выраженію ея лица, по тому, как она при послѣдних словах, крестясь, опустилась на колѣни, — я догадалась: «Если же это невозможно — да будет воля Твоя».

На нѣсколько секунд она опять припала

* По-армянски: «Если это возможио».

щекой к коврику. Потом, подняв голову, но не вставая с колѣн, протянула перед собой обѣ руки, обращенныя раскрытыми ладонями к образу. Лицо у нея вдруг стало совсѣм успокоенным. Она виновато улыбалась.

— Ко камкн э, ко камкн э, — тихо и смущенно повторяла она, как бы признаваясь в своей немощи и радуясь этому признанію. Потом с облегченіем вздохнула, подошла к своей кровати, достала из под подушки большой платок. Не спѣша, она вытерла глаза, высморкалась, опять благодарно взглянула в угол и, крестясь, задула лампадку.

Я притянула дверь, на цыпочках отошла вглубь комнаты и молча сѣла рядом со Стешей на сундукѣ.

XV
ПРАЗДНИЧНЫЙ КУРЗАЛ

Мы возвращались домой через парк — ярко, по-праздничному, освѣщенный. Из огромных афиш, с портретом знаменитаго дирижера, мы давно знали, что в этот вечер он проѣздом даст свой единственный концерт. Публика — разряженная, оживленная — толпами направлялась к стеклянной галлереѣ курзала. Мальчуганы-цвѣточники, по-сорочьи, назойливо стрекотали и чуть не лѣзли всѣм нам на ноги, предлагая на лотках крошечныя бутоньерки

из роз, всего по пятачку. Мама купила мнѣ такую бутоньерку душистых розочек, кокетливо разложенных на листкѣ папоротника, тоже душистаго, но горьковато-дурманнаго.

У входа в галлерею, за столиками, дамы продавали цвѣты уже для подношеній: букеты гладіолусов, гвоздик, роз.

Было поздно. Публика, торопясь, еще тѣснилась у входа, а внутри галлереи уже гремѣли аплодисменты, которыми встрѣчали дирижера. Обѣжав зданіе галлереи, я вскочила на скамеечку по другую сторону входа и заглянула в открытое окно. Среди черных силуэтов сидящих музыкантов огромной и несуразной казалась фигура в бѣлом суконном костюмѣ с пышной красной гвоздикой в петличкѣ. Бритые ежиком волосы, худая, выступавшая из воротника шея, одутловатое, мертвенно блѣдное лицо и худыя кисти рук — все было некрасиво и вмѣстѣ с тѣм полно какой-то особенной важности. Когда он постучал палочкой по пюпитру и поднял руки, всѣ, не сводя с них глаз, благоговѣйно и испуганно притихли: и публика и музыканты.

Началась увертюра к «Франческа да Римини», которую я уже слышала в исполненіи оркестра вскорѣ послѣ нашего пріѣзда в Желѣзноводск. Но и увертюра и оркестр, который я хорошо знала, мнѣ показались на этот раз совсѣм особенными. Дирижер как будто сгреб

оркестр цѣликом под свои руки и не выпускал до той самой минуты, когда прозвучали послѣднiе такты... Тогда он уронил руки, не спѣша повернулся к публикѣ, провел ладонью по ежику над лбом. Потом, как будто вдруг вспомнив, что нужно же отвѣчать на аплодисменты, он нѣсколько раз серьезно и непривѣтливо поклонился. Вышел на эстраду сторож, перевернул на обратную сторону картонный квадрат, укрѣпленный на пустом пюпитрѣ у рампы... Я увидѣла жирную цифру 2. Публика зашуршала программами, поднося к глазам лорнеты, монокли, шепчась, поудобнѣе усаживаясь на мѣстах.

Но мнѣ нужно было возвращаться к мамѣ, которая уже давно ждала у входа в галлерею, чтобы отвести меня домой и снова вернуться на концерт.

С неохотой шла я по аллеѣ к боковому выходу парка, напрягая слух, чтобы, удаляясь, подольше слышать за собой ослабѣвавшiе звуки оркестра.

XVI

РАДОСТЬ ВСТРѢЧ

Петербургская квартира еще сохранила ко дню нашего прiѣзда свой лѣтнiй вид, как я и ожидала.

Я обошла всѣ комнаты, задерживаясь в каждом углу, вспоминая, радуясь и по-новому

любуясь всѣми дорогими сердцу мелочами.

В залѣ сняла с этажерки фарфоровых слоников, всѣх по-очереди, и пересмотрѣла, пересчитала. Их было девять, и только в этом числѣ они должны были приносить дому счастье: так говорила тетушка Варя, когда дарила их мамѣ. Открыла крышку рояля, сыграла, сбиваясь и останавливаясь, начало из легонькой сонаты Клементи. Посидѣла на подоконникѣ, немного запыленном и пахнущем краской, посмотрѣла в окно на знакомыя вывѣски.

Рядом с гостиной, за дверками стеклянных шкафов, лежали обернутыя папиросной бумагой эспри, цвѣты, ленты, всевозможныя отдѣлки для шляп маминаго салона, закрытаго на лѣто. Трельяж и большое стѣнное трюмо были тоже чуть запыленные. Нѣсколько кресел с позолоченными спинками и ручками стояли, сдвинутыя к стѣнѣ. Пушистаго ковра, с розовыми вѣночками по сѣрому полю, на полу не было: огромной, разбухшей трубой он стоял в углу у камина, плотно закутанный в газетную бумагу и перевязанный веревками.

Эти парадныя комнаты были и по виду и по запахам нежилыми и на время позабытыми. Но столовая — прохладная, просторная и обѣднѣвшая, без портьер, без кружевных занавѣсок и без ковра — была все же совсѣм жилой. Ослѣпительным блеском играли два самовара — один мѣдный, другой серебряный, на боко-

вом столикѣ под часами с кукушкой. Пестрая чайная скатерть покрывала круглый стол. Над тахтой, чуть примятой от времени, висѣл портрет бабушки Дагестанской, перенесенный сюда вмѣстѣ с текинским стѣнным ковриком и большой розовой пепельницей-раковиной из папинаго кабинета, когда кабинет не стал больше в квартирѣ нужен...

В комнатах сестер уже шла дѣловая, налаженная к зимѣ жизнь: на столах лежали гимназическія сумки, учебники, циркули, линейки. На спинках кроватей висѣли утренніе халатики. На комодѣ бѣлѣла груда разглаженных накрахмаленных воротников, манжет. Кутяша лежала на зеленом бархатном креслѣ у окна. Она то и дѣло вскакивала на подоконник поглядѣть во двор на пробѣгавших вслѣд за прислугами сосѣдских собак и опять уютно и плотно укладывалась крендельком в креслѣ. Это кресло, порыжѣвшее и грязноватое от ея шерсти, было теперь окончательно отдано в ея пользованіе.

В моей комнатѣ все было попрежнему. Неша повѣсила зимнія занавѣски, чтобы свѣт не будил меня по утрам слишком рано. На этажеркѣ над кроватью красовались всѣ наши прошлогоднія работы: тарелки, кувшинчики, вылѣпленные из гипса, и деревянныя шкатулки, пеналы, с выжженными и ярко раскрашенными головками боярских дѣтей.

У окна, на табуретѣ, в большой клѣткѣ, в

которой прежде, во времена мною позабытыя, жил попугай, — теперь чирикала цѣлая семья моих любимых чижей.

Тамарка и Лизанька загорѣли и похудѣли за лѣто. Прожив без мамы цѣлых два мѣсяца, онѣ стали совсѣм самостоятельными, даже «взрослыми» теперь. И были онѣ обѣ «по-взрослому» особенно добры и ласковы ко мнѣ.

Неша, никогда так надолго не руэлучавшаяся со мной и привыкшая безпокоиться о моем здоровіи, то и дѣло заботливо усаживала меня к себѣ на колѣни. Она гладила мои щеки, заглядывала мнѣ в глаза, шутливо щипала меня за нос и разспрашивала, сколько я прибавила в вѣсѣ, хорошо ли спала, не кашляла ли, не утомлялась ли. Я капризно хныкала, как маленькая, от ея ласковых щипков и со смѣхом показывала ей на свои ноги. Онѣ у меня .были уже гораздо длиннѣе, чѣм у нея, и заставляли меня так неудобно и нескладно сидѣть у нея на колѣнях. О передстоящей разлукѣ мы пока не говорили...

Когда я забѣгала на кухню, Настя и Катя с гордостью показывали мнѣ на горшки с солеными маринованными грибами, на банки с вареніем из брусники, земляники, ежевики... Чего только ни набрали онѣ с Тамаринькой и Лизой за лѣто в лѣсах!

Растроганно потянулась я ко всему и ко всѣм в домѣ. В первые дни даже не хотѣлось

разсказывать о себѣ: только смотрѣть, слушать и радоваться ..

А впереди ждала еще немалая радость: — через нѣсколько дней надо было идти на молебен в гимназію!

Казалось,будто стѣны моего дома, как и стѣны моего сердца, теперь, по возвращеніи в Петербург расширились и раздались. И влилось в них много людей, тоже необыкновенно близких, по-семейному связанных со мной общей жизнью каждаго трудового дня в том чудесном міркѣ, которым всегда была для меня гимназія.

XVII
ЛИТЕРАТОРЫ И АРТИСТЫ НЕ СТАРШЕ 13 ЛѢТ.

С подругами мы встрѣтились очень весело, но безо всяких нѣжностей. Всѣм нам хотѣлось показать себя «повзрослѣе» друг перед другом и перед учителями.

Еще с весны вышло нам распоряженіе из канцеляріи носить форменныя платья на пятнадцать сантиметров ниже колѣн. Ходить в гимназію разрѣшили без провожатых, если это затруднительно для домашних.

Словом, мы уже переставали быть малышами. И в ученіи: от печенѣгов, варягов и рюриковичей мы перешли к Египту и Элладѣ; от

лягушек и летучих мышей — к скелету человѣка; от материков и океанов — к современным государствам; от грамматики — к начальной литературѣ.

Разговоры между нами тоже пошли уже другiе.

Поступила к нам в класс «новенькая», которая вскорѣ дала «тон» цѣлому кружку лучших учениц в классѣ. Эта новенькая— Стефа Мерчинская, хорошенькая, веселая дѣвочка, полька, оказалась умнѣе и начитаннѣе нас всѣх. Была она и старше нас.

Правда, она не стала лучшей ученицей, так как и математика и языки ей не очень легко давались. Но по литературѣ, по исторiи, а главное, по общему развитiю — она была далеко впереди нас. Вскорѣ, по ея примѣру, мы стали дружной кучкой ходить вечерами в Тенишевское училище на лекцiи об Элладѣ Ф. Ф. Зелинскаго, жадно читать русских классиков, спорить о них, писать друг другу «литературныя» письма.

Я же оказалась «застрѣльщиком» в другом; вслѣд за мной подруги выпросили у родителей абонемент на Шереметьевскiе концерты и на воскресные дневные спектакли в «Александринку».

Всѣ перемѣны мы просиживали по углам столовой, в безконечных жарких бесѣдах, безжалостно прерываемых звонком к урокам. Ино-

гда, как заговорщики, ютились в концах темных коридоров...

Имена Дафниса, Хлои, Орфея переплетались с Лизой Калитиной, Лаврецким, Базаровым, Татьяной... Напѣвы из Мейстерзингеров — с монологами Чацкаго.

А вѣдь были мы еще дѣтьми, хотя и не малышами, но все-таки дѣтьми. Нѣкоторых из моих подруг отпускали в театры и на лекціи не только со старшими сестрами, но даже с нянями, которых онѣ, стѣсняясь, называли своими «бывшими» нянями или боннами.

Горѣли у нас головы, горѣли сердца. А между тѣм, в большую перемѣну мы еще часто бѣгали в пятнашки, стукали доболи лбы при игрѣ в «селедку», тайком удирали по черной лѣстницѣ за пирожными, глупо врали классной дамѣ, если бывали пойманы... Иногда, к стыду нашему... даже плакали, пряча голову под парту, если получали плохую или несправедливую отмѣтку. А жар в головѣ и в сердцѣ не стихал, жажда знаній и жажда как-то проявлять себя разгоралась и скоро привела нас к самостоятельному творчеству всѣм кружком... Мы, восемь лучших учениц в классѣ, начали издавать свой журнальчик. Начальница, узнав от классной дамы наши имена, с полным довѣріем это разрѣшила.

Журнальчик сшили из лучшей писчей бумаги, купленной на Литейном в магазинѣ Гаевскаго. Ада Климова разрисовала обложку и

сдѣлала виньетки к разсказам. Редакторша, Стефа Мерчинская, размѣстила по своему вкусу разсказы, стихи и критическія сочиненія всего кружка.

В первый номер я дала «письма из зрительнаго зала». В этих письмах я, как могла, описала мои впечатлѣнія от постановки «Эрнани», с Юрьевым в роли Карла V, и от балета «Раймонда» в Маріинском театрѣ, с Преображенской во главѣ.

Наш журнальчик читали и другія дѣвочки, с которыми мы хотя и не сближались, но жили дружно. У нас как-то не полагалось ссориться с кѣм-нибудь из класса: ссорились мы только в своем кружкѣ, между собой. Да и сказать по правдѣ, так велика была разница в интересах, в способностях, в домашнем воспитаніи между нами и остальными дѣвочками, что даже тѣ из них, которыя были старше нас годами, все-таки не могли равняться по нашему кружку. За то нѣсколько Тамаринькиных подруг, дѣвочек из старших классов, стали понемногу примыкать к нам.

По воскресеньям мы собирались друг у друга, устраивали общія игры-шарады. Первое мѣсто в шарадах занимали фанты с выступленіями: с декламаціей, с пѣніем или даже... с экспромптами в стихах. Эти экспромпты бывали обыкновенно очень неудачны, а потому особенно веселили всѣх. За «остроуміе» выдавался

первый приз. Его почти неизмѣнно получала Стефа Мерчинская.

У меня тоже был свой «конек» — подражаніе голосам, походкѣ, выраженью лиц учителей, подруг, артистов и т. д. Этот «номер» мы всегда оставляли под конец, когда вся болѣе серьезная часть выступленій бывала закончена. Мнѣ он не стоил никакого напряженія и труда, и одно время я довела «подражанье» до большого мастерства.

Но... до одного случая, послѣ котораго это подражаніе потеряло для меня всякій интерес.

Как-то, когда мы сидѣли всей семьей дома за обѣдом, прошел через столовую, в сопровожденіи Насти, новый, еще незнакомый нам настройщик из музыкальнаго магазина Розэ. Я посмотрѣла на его немного козлиную голову, на руку, бережно сжимавшую саквояж с инструментами, на смущенную походку бочком, тоже немного козлиную. Как только он прошел в залу к роялю, я соскочила и прошлась «настройщиком» до самых дверей...

Сестры прыснули со смѣха.

— Иди в свою комнату и не выходи до вечера, — спокойным, хотя и очень недовольным тоном сказала мама. — Тебя еще и в угол ставить не поздно!

Я послушно сложила салфетку и, не кончив обѣда, ушла в свою комнату. Но в дверях, взглянув на маму, я увидѣла, что она очень со-

средоточенно разглядывает рыбную лопаточку на блюдѣ, как будто видит ее в первый раз... А за этой сосредоточенностью прячет смѣх, который вот-вот пробьется наружу...

Я поняла, что очень удачно изобразила хромого настройщика, и все-таки я почувствовала что-то стыдное, недоброе в самом моем поступкѣ, а совсѣм не в наказаніи, полученном за него...

Я ходила взад и вперед по своей комнатѣ, все больше раскаиваясь в том, что не пощадила бѣднаго, скромнаго, стѣсняющагося нас настройщика... Неумѣстен и неделикатен был на этот раз мой театральный порыв...

С тѣх пор я уже остыла к «подражанью» и протестовала, когда мнѣ заказывали в кружкѣ «разсказать что-нибудь в лицах».

Понемногу на воскресных встрѣчах я совсѣм перешла на декламацію и на сценки из видѣннаго в театрѣ... Попробовала писать в журнальчик стихи, но они мнѣ не очень удавались. Тогда я стала писать небольшіе разсказики-картинки из видѣннаго и слышаннаго. Это одобрил не только наш кружок, но и учитель словесности В. И. Сумароков, которому мы из симпатіи давали на просмотр каждый номер.

Ада Климова кромѣ виньеток принялась рисовать звѣрей, и тут обнаружилось, что она умѣет придавать их мордам выраженья человѣческих настроеній. В первый раз она сдѣлала

это, чтобы попросту насмѣшить нас, но Сумароков подсказал ей дѣлать рисунки к басням Крылова. Таким образом, у нас в каждый номер помѣщалось по одной баснѣ. Я их обычно декламировала в классѣ, изображая в лицах, а потом страничка с басней, снабженной рисунком Ады, ходила по рукам и иногда попадала даже в канцелярію. Так, на нашем простеньком полудѣтском журнальчикѣ обнаружился талант Ады, ставшей через десять лѣт извѣстной каррикатуристкой.

К Рождеству Катя, Ада и я написали пьесу-сказку, Мѣсто дѣйствія — небосклон. Дѣйствующія лица: звѣзды, дѣвочка-сиротка, добрая фея и колдун. Время — зимняя полночь. Костюмы для звѣзд — бѣлый тарлатан, балетныя туфли, бумажныя золотыя искры на пышных юбках, бумажный золотой вѣнец на распущенных волосах. Для феи—розовое шелковое платье с серебряным поясом и кокошник из многоцвѣтнаго бисера. Для колдуна—черное трико и длинный огненно-красный плащ из кумача. Танцы звѣзд и ураганный вальс колдуна ставил нам Петр Ильич. Музыку взяли из Фауста. Стихи написала Стефа. Я написала отдѣльныя сценки и сочинила всѣ пѣсенки. Декораціи писала Ада. Другія дѣвочки нашего кружка покупали матерію, шили костюмы и по-очереди режиссировали.

Конечно, всѣ мы были и артистами. Только

дѣвочку-сиротку взяли из малышей. Звали эту дѣвочку Катя Добролюбова. Ей было 9 лѣт. Она нас очень уважала и слушалась.

При распредѣленіи ролей нам мѣшало сначало присутствіе классной дамы, Вѣры Николаевны. Мы привыкли друг друга не стѣсняться, не бояться обидѣть, открыто критиковать. Это создало у всѣх нас такое отношеніе к правдѣ, что чья-нибудь малѣйшая фальшь или неискренность вызывала дружные крики: «Отставить, отставить! Лукавит!»

В отношеніи других дѣвочек класса этой откровенности не было. Мы все-таки были воспитаны в хороших семьях и умѣли во время смолчать и не навязывать никому своих мнѣній. Но в нашем кружкѣ «китайских церемоній» не полагалось. Человѣкоугодничество и лукавство считались злом, нарушающим внутренній, записанный в сердцах устав кружка.

Конечно, ссорились мы очень легко; и сейчас же мирились. Открыто говорили мы о недостатках друг друга, но без всякаго осужденія: просто, относясь к ним, как к вещам, с которыми необходимо считаться. Но не любили этого дѣлать при «чужих». Все это очень живо обнаружилось на первой же считкѣ, и классная дама поняла, что без нея мы столкуемся лучше.

— Дѣвочки, я хочу играть фею, — говорила Катя Вилкина.—Я бѣлокурая, глаза у меня голубые. Это как раз подходит к феѣ.

— Невозможно. Невозможно, — запротестонали другія.—Феѣ придется много пѣть, а тебѣ медвѣдь на ухо наступил.

— Пусть Ада будет феей.

— У Ады фигура не подходит!

— Пусть Чиж будет феей (это было моим прозвищем в гимназіи).

— Отставить! Отставить! Чиж черномазый, а фея должна быть бѣленькая, бѣленькая...

— Стойте! Пусть Катя Вилкина будет феей, раз она хочет. Когда ей надо будет запѣть, она прислонится к кулисам и будет только рот открывать. А я за кулисами пропою вмѣсто нея — нашлась я. (Опыт Александринскаго театра пришел мнѣ на помощь).

На этом мы согласились.

Стефа Мерчинская была колдуном, и для репетицій кто-то из старших классов пожертвовал ей свои гельсингфорскіе черные рейтузы.

Когда по ходу пьесы она бывала свободна, то убѣгала вглубь зала и оттуда командовала, режиссировала. Нервным движеніем подтягивая чуть ли не под горло чужіе гельсингфорскіе рейтузы и свирѣпо сдувая падавшіе на разгоряченное личико растрепанные волосы, она кричала:

— Мурка, не сутулься! Не смотри все время в публику! Неестественно выходит. Чиж, подбирай ноги в полькѣ — сосѣдок сшибешь...

И была она похожа своими манерами на командира отважнаго судна, а необыкновенным нарядом... на Шаляпина в Мефистофелѣ.

Я же, в сильно накрахмаленной нижней юбкѣ, танцовала звѣзду в парѣ с Мусей Ершовой. На первых репетиціях никто из старших не присутствовал, а потому всѣ костюмы были дозволены. Происходили эти репетиціи в маленьком залѣ, наверху, послѣ уроков. Когда же мы проходили отдѣльно танцы с Петром Ильичем, то всѣ бывали в полной гимназической формѣ, и это очень стѣсняло движенья.

Наш рождественскій спектакль был веселым, дружным и привлекательным. Но был он и очень незамысловатым, несмотря на то, что мы старались ввести в постановку разныя «тонкости» по примѣру...Александринскаго театра.

XVIII

О ДВУХ ПЕДАГОГАХ

Было у всѣх нас, у всего класса одно больное мѣсто: «географка», Она не унималась в своей придирчивости и строгости. Даже Ада Климова уже не могла у нея получить выше 10 баллов. И больше того: чѣм лучше была ученица, тѣм больше ей хотѣлось на чем-нибудь поймать и срѣзать ее. Зачѣм ей было это нужно — мы не понимали. У всѣх к концу года

руки опустились. Угодить ей было невозможно. Одно время ходили с ней объясняться, жаловались, умоляли. Ничего не помогло. Я совсѣм забросила географію от отвращенія и усталости. Наконец, собралась с духом и разрѣшила этот вопрос «по-своему».

В то время мы изучали города Германіи. Я купила сорок нѣмых карт, все в том же магазинѣ Гаевскаго. Приказчик, навѣрное, думал, что я покупаю на весь класс! Придя домой, я положила их в своей комнатѣ на полу цѣлой стопкой. Потом легла животом на пол, вооружилась резинкой, карандашом, лупой и картой из учебника. Так я каждый вечер работала по два, по три часа в теченіе недѣли. Каждый вечер болѣли глаза, уставала голова, дрожали от неудобной позы локти, но работать на столѣ мнѣ было тѣсно.

Через недѣлю я сама вызвалась отвѣчать по картѣ Германіи. Огорошенная, недоумѣвающая, даже смущенная, учительница, «прогоняв» меня по картѣ цѣлый час, к концу урока поставила мнѣ жирное 12. Потом подумала и прибавила... плюс... Дѣвочки ликовали. «Ага! Не удалось ни на чем словить! Так ей и надо!» О моем блестящем отвѣтѣ говорили в перемѣну всѣ: и ученицы, и классная дама, и сама «географка». Она даже подошла ко мнѣ в коридорѣ.

— Молодец! Вот видите, как вы можете

отвѣчать, когда захотите. Хорошій примѣр для других!

Я вдруг почувствовала неестественное напряженіе и холод в спинѣ, как это у меня бывало только в очень рѣшительныя, почти отчаянныя минуты.

— Я зубрила, как идіотка. — Пусть лучше никто не берет с меня примѣра. Через полгода я забуду всѣ города и возненавижу географію навсегда.

... Зачѣм же вы так прилежно учили? — растерялась «географка».

— Я думала так лучше доказать вам, что это никому не нужно... Добиться того, чего вы от нас хотите... а потом отбросить и позабыть все... — измученно и нервно отвѣтила я, едва сдерживая слезы.

Меня отчитали и дома и в канцеляріи. Даже сбавили за поведеніе в концѣ недѣли. «Географка» же старалась с тѣх пор осторожно обходить меня, как «чудачку» или даже «сумасбродку», своими вопросами и придирками. Перед классом, который почему-то почувствовал себя независимѣе и легче послѣ этого моего опыта, она стала немного заискивать, чтобы не слишком раздражать и возстанавливать против себя учениц. Это мы всѣ сразу же почувствовали и совсѣм перестали уважать ее...

С остальными учителями и учительницами все шло гладко. У каждой из нас были свои

любимицы и любимцы. Мы спорили между собой, стараясь доказать, что такой-то или такая-то лучше, справедливѣе и симпатичнѣе всѣх, но никогда не могли переспорить друг друга и каждая оставалась при своем «кумирѣ».

У меня были совсѣм особенныя отношенія с Сумароковым. Я любила его уроки, любила его самого, справедливаго, тихаго, серьезнаго, нисколько не интересовавшагося тѣм впечатлѣніем, какое он производил на нас. Это в нем было, пожалуй, самым привлекательным. Умно, добросовѣстно, интересно вел он свои уроки и никогда не обнаружил никакой рисовки перед нами, не сказал ни одного слова в угоду нам. Он был некрасив, неуклюж и удивительно неэлегантен. Постоянно щипал свою бороду и загибал ея острый конец себѣ в рот, чтобы пожевать сухенькими блѣдными губами; пучил круглые глаза, нервно ощупывал запонки на грязноватых манжетах под вицмундиром, объясняя что-нибудь особенно увлекательное. Брюки складками болтались над штиблетами, которые мы прозвали «семинарскими». (Да и происходил он из провинціальной семинарской среды, и говор у него был не петербуржскій, как у других педагогов или как у нас самих). Его почему-то интересовали и радовали мои письменныя работы: изложенія и сочиненія.

Я скоро привыкла к тому, что, раздавая всему классу уже провѣренные им листки, он

обычно задерживал мой листок и подсовывал его под журнал. В концѣ урока он говорил:

— Теперь предложу вашему вниманію одну небезынтересную работу.

Не могу сказать, чтобы он всегда меня хвалил, но почти всегда особо отмѣчал. Иногда даже оставлял мою работу на нѣсколько лишних дней у себя, чтобы прочесть ее в Тамаринькином или в другом старшем классѣ.

Раз, когда меня послали в учительскую за журналом, я застала там Сумарокова. Он спросил меня, не пишу ли я дома. Я, смущаясь, отвѣтила, что пишу, но только... свой дневник, и то урывками...

— Ну, это я не смѣю у вас просить на прочтеніе, — засмѣялся он, — Хотя вряд ли в вашем возрастѣ там могут быть большія тайны.

— Больших тайн нѣт... Но все-таки... стыдно, — сказала я.

— Я понимаю, понимаю, хорошо понимаю,— заторопился успокоить меня Сумароков, так неловко переминаясь на мѣстѣ, словно он сам себѣ наступал на ноги. — Я и в журнальчикѣ вашем слѣжу за тѣм, что и как вы пишете.

Я сдѣлала ему реверанс и опрометью бросилась из учительской. Мнѣ было и лестно и неудобно, что он удѣляет мнѣ столько вниманія. Даже в «кружкѣ» я никому не разсказала о разговорѣ в учительской. В классѣ меня и

без того всегда «подсовывали» Сумарокову, если он бывал не в духѣ или если нужно было что нибудь «выторговать» из заданнаго.

Любили и подразнить меня им.

— Твой Сумароков идет, — говорили мнѣ подруги, завидѣв его в коридорѣ.

Или:

— Опять у твоего Сумарокова спина в мѣлу!

Впрочем, подшучивая над «семинаристом», ученицы его искренно уважали, считались с ним и цѣнили его уроки.

XIX

СМЕРТЬ

Перед самой Пасхой произошло у нас печальное событіе: скончалась Марія Андреевна, наша любимая сиротинушка-старушка.

Незадолго до своей смерти она пришла к нам на урок танцев и сѣла как обычно за рояль, но играла вяло, иногда останавливалась, переводя дух, словно ей не хватало воздуха в залѣ. Была она повязана поверх шерстяного платья сѣрым оренбургским платком и сидѣла сгорбившись, нахохлившись, как воробушек зимой. Потом, недѣлю она вовсе не приходила в гимназію.

А в одно утро, послѣ молитвы, начальница

объявила всѣм, что первый урок в классах начнется на полчаса позже: всѣ должны остаться в залѣ на панихиду.

— Вчера вечером, волею Божіей, тихо скончалась у себя на квартирѣ от воспаленія почек наша дорогая Марія Андреевна. Помолимся о ея душѣ.

По залѣ прошло общее смятенное движеніе. Раздался шопот, чей-то сдержанный плач, горестныя восклицанія. Всѣ торопливо перекрестились,

Лизанька на цыпочках поспѣшила к нотному шкафчику, достала папку с четкой надписью чернилами — «панихида. Развязав на колѣнях папку, она раздала хору листки.

Батюшка, о. Иннокентій Кубиш — худой, вытянутый, с впалой грудью и красивым вдохновенным лицом нерусскаго святого — вышел в облаченіи к стѣнному образу за оградой.

Вечером, кто из дѣвочек хотѣл, мог пойти на панихиду на квартирѣ Маріи Андреевны. Мнѣ нельзя было не идти: Лизанька велѣла «выручать» второе сопрано, которое сильно фальшивило на утренней панихидѣ.

Бѣдна и грязновата была лѣстница в большом домѣ на Лиговкѣ, гдѣ на четвертом этажѣ снимала крохотную квартиру покойная сиротинушка-старушка. На площадках лѣстницы горѣли желтоватым свѣтом керосиновыя лампы, о самом существованіи которых мы уже давно

позабыли.

Дверь в квартиру была пріотворена. В узком коридорчикѣ, заставленном корзинами и каким-то скарбом, было тѣсно и душно от народа, пришедшаго проститься с покойницей.

Я знала наперед, что мнѣ тяжела будет картина смерти знакомаго существа. Но такого ощущенія внезапнаго ужаса от этой жутко бѣлѣвшей в полутьмѣ коридора крышки гроба, от доносившихся из сосѣдней комнаты неестественнаго, монотоннаго чтенія псалтыря и унылаго потрескиванія свѣчей, я не ожидала.

Мнѣ захотѣлось опрометью броситься назад, на свѣжій весенній воздух, услышать живые звуки извощичьих окриков, взвизгиванья трамваев, цоканья лошадей по мостовой, — заглушить, задавить тот ужас обреченности и «конца», который охватил меня в этой квартиркѣ. Но Лизанька сдѣлала мнѣ знак пройти через боковую дверь к хору, уже поджидавшему нас.

Зажмурив глаза, сжав в груди какую-то невидимую пружину, которая готова была вот-вот раскрутиться до отказа и бросить меня к приступу рыданій и нечеловѣческаго страха, я вошла в комнатку.

У окон тѣснился хор. Стараясь никуда не глядѣть, я втиснулась в самую гущу его. Мнѣ передали ноты.

Дѣвочки спокойно переговаривались в ожи-

данія начала панихиды. С умиленіем разглядывали онѣ то страшное и непостижимое для моего разсудка, что бѣлѣло посреди комнаты, прикрытое блестящим покровом.

— Как она мало измѣнилась за болѣзнь!

— Нѣт, что ты, посмотри, какіе отеки под глазами! — слышала я дѣловито сочувственныя замѣчанія дѣвочек.

— А все-таки лицо спокойное.

— Душенька она была, дорогая, как ее жаль!

Мнѣ хотѣлось заставить себя поднять глаза, посмотрѣть и, может быть, тоже смочь както проще и спокойнѣе отнестись к тому, что было передо мной. Но стоило мнѣ повернуть голову ко гробу — я невольно зажмуривала глаза...

Обрадовалась я, когда, наконец, началась панихида; особенно старательно выпѣвала я каждое слово, умышленно отдавая все вниманіе, без остатка, только пѣнью.

Лизанька одобрительно кивнула мнѣ головой. Кое-кто из дѣвочек подсунулся ко мнѣ поближе, слыша, как отчетливо и увѣренно я вела свой голос.

— «Святых лик обрѣте источник жизни, и дверь райскую, да обрящу и аз путь покаяніем...» — совершенно безсмысленно и напряженно выпѣвала я, глядя в ноты, хотя и знала их наизусть.

И вдруг новым страхом прорѣзалось в сознаніи:

— «Погибшая овча аз есмь. Воззови мя, Спасе, и спаси мя».

Я подняла глаза на гроб. Желтое, худенькое личико, окруженное, как кокошником, бумажным вѣнчиком, показалось мнѣ чужим, строгим. Вѣки, не совсѣм плотно сомкнувшіяся, придавали ему странное, недовѣрчивое выраженіе...

Я вздрогнула. Мнѣ показалось, что покойница недовольно и недоброжелательно присматривается ко мнѣ...

— Почему, почему же именно ко мнѣ, что за чушь! Я всегда нѣжно любила ее... Какая вина у меня осталась перед нею?... — убѣждала я себя.

А все-таки ощущенье какой-то вины не покидало меня, и от этого еще страшнѣе было все происходящее вокруг.

— «Просвѣти нас вѣрою Тебѣ служащих и вѣчнаго огня исхити», — почти без сил допѣла я и умоляюще посмотрѣла на Лизаньку.

— Ты что? — шепнула она испуганно.

— Мнѣ нехорошо, — отвѣтила я, уже роняя безпомощно вдоль туловища руки.

Кто-то из учениц вывел меня через боковую дверь обратно в коридор. На ходу накинув здѣсь на меня пальто, схватив мои калошки и берет, кто-то помог мнѣ спуститься по лѣстни-

цѣ и выйти на улицу, на свѣжій воздух...

XX

О ЦЕРКОВНОМ ПОСЛУШАНІИ

Шли недѣли Великаго Поста, который мы всѣ в домѣ так любили за особенный, строгій, тихій уют, за добровольное подчиненіе нашѣ воздержанію, за чудесныя службы в армянской церкви.

Мы даже гордились тѣм, что постимся строже русских дѣвочек. И правда: только в семьѣ Кати Вилкиной царила всѣ семь недѣль такая строгость. В семьях же других дѣвочек ѣли рыбу и даже пили молоко, исключая первую, четвертую и Страстную недѣлю. Мы жалѣли наших подруг, которых родители лишали прелести воздержанья этих недѣль, а в будущем — радости разрѣшенія от него.

Прислуга на кухнѣ одобрительно говорила:

— Вот тебѣ и господскія дѣти... А еще армяне!

Помню пришла раз к нам тетя Варюша — мамина кузина — и ея муж, котораго мы еще в дѣтствѣ прозвали «тапіокой».

Был он русским инженером, профессором в Лѣсном Институтѣ. Говорил он со всѣми спокойно, самоувѣренно, с добродушной иroніей, как с младшими: никогда не сомнѣваясь в не-

погрѣшимости своих слов, поступков, разсужденій. Он изобрѣл для себя какую-то особую систему питанья: «на зло врачам»... (За назойливые совѣты всѣм нам ѣсть непремѣнно каждый день суп с тапіокой он и получил от нас свое прозвище). Ботинки носил он особенные, на заказ, согласно своему «безошибочному знанію человѣческой ступни»; удивлялся, как это мы можем ходить в покупных, «сшитых вопреки здравому разсудку».

— Ничего, как-то ходим, — смѣясь отвѣчала мама, — и не калѣчимся: ни мы, ни милліоны других людей.

Особенно самоувѣрен он был в вопросах религіи.

— Богу это не нужно, — было одним из его самых вѣских доводов, когда он нападал на нас за частое хожденье в церковь.

— Вам виднѣе, — с веселой насмѣшкой отвѣчала обычно мама. — А с нами, грѣшными, Бог так запросто не разговаривает, не объясняет, что это, мол, мнѣ не нужно! Влечет нас сердце в церковь — вот и ходим.

Придя раз к нам в разгар поста и не видя на обѣденном столѣ ничего, кромѣ грибных щей, картофеля, бобов и кочанной капусты, — он обрушился на маму.

— Зачѣм это? Кому это нужно! Что за деревенское ханжество? И это — в семьѣ культурной, интеллигентной женщины?

— А вот вы попробуйте сейчас моим дѣвочкам предложить яйца или мясо, онѣ ни за что не станут ѣсть. Я их обижу, лишу большой радости, если сварю скоромный обѣд или пошлю в театр в Великом Посту.

— Вѣдь это же все им навязано, внушено, вѣдь онѣ и смысла-то поста даже не понимают, — разсуждал Тапіока.

— Лизанька уже шестнадцатилѣтняя дѣвушка, она отлично понимает. Да и Тамара тоже. А Чиж, если и не совсѣм понимает, то все-таки от поста кромѣ пользы ничего не получит. И волю пост воспитывает, и сознаніе, что не все всегда дозволено, и уваженье к бытовому укладу, связанному с Церковью.

— Ну, еще армянская церковь — туда-сюда, — снисходительно говорил он. — Хоть попы у вас, армян, с высшим образованіем. Но наши, русскіе — это же катастрофа! И подумать только, что интеллигентные, культурные люди слушают их безграмотныя проповѣди, приглашают их к себѣ в дома, даже... даже руки им цѣлуют! Вѣдь это какое-то наважденіе.

— И мы у отца Іакова и у отца Иннокентія руки цѣлуем, — горячились мы. Это называется подходить под благословеніе, а не руки цѣловать.

Мама поддерживала нас.

— Но Богу-то попов, во всяком случаѣ, не нужно, — категорически отрѣзал Антон Петро-

вич.

— А как же вы таинства сами, что ли, будете совершать? — спрашивала. мама.

— Позволь, позволь, Аня, — вмѣшивалась в спор тетя Варюша, снимая пенснэ, откладывая вязанье, с которым она обычно не разставалась, и протирая уставшія, покраснѣвшія глаза. — Позволь...

И хрипловатым голосом с необыкновенно скучными интонаціями, она медленно начинала:

— Во-первых, кому нужны таинства? И что такое таинства вообще?

Мама дѣлала нетерпѣливое движеніе рукой. Тетя Варя сейчас же это замѣчала.

— Постой, постой, ты не волнуйся... — скрипѣла она дальше. — Развѣ дома молиться нельзя? Вѣдь это же безразсудно!... Житейскіе навыки и только!

— Ох, Господи, — нетерпѣливо вздыхала мама. — Ну и молитесь дома — кто вам мѣшает! Но церковная молитва имѣет совсѣм другой смысл... другое значеніе. Да я по себѣ сужу... Если бы я не говѣла сама каждый год, не водила бы на исповѣдь и к причастію дѣтей — что бы я дѣлала! Откуда я взяла бы силы быть для них и отцом и матерью, добывать средства к существованію, давать образованіе, воспитаніе, слѣдить за здоровьем, за склонностями, за характерами... А вот, слава Богу, живем же как-то... И откуда-то силы прихо-

дят и на себя и на них... А откуда приходят? Из Церкви. Вы оба замкнулись в своем маленьком благополучіи и только разсуждаете о Богѣ, о Церкви, как о чем-то отвлеченном. А для меня это реальность, самая живая реальность. Отнимите ее от меня — и у меня все под руками распадется... Я-то уж это хорошо знаю...

— Да, конечно, твое положеніе очень трудное, — совсѣм не на тему отвѣчала очень сочувственно тетя Варюша.

— Да не в этом дѣло... Я же не жалуюсь, — безпомощно пробовала отклонить ея сочувствіе мама.

Как-то, когда «Тапіока» с тетей Варюшей ушли и мама, проводив их, осталась стоять в передней, задумчиво и неодобрительно покачивая головой, Тамаринька сказала:

— Воображают много, потому и харахорятся! Такіе всезнайки — прямо бѣда!

Мы так и прыснули со смѣха, выслушав ея рѣшительное замѣчаніе.

XXI
У ПЕЧОРСКАГО РУЧЬЯ

Итак, мы дома привыкли не дѣлать разницы между своей и православной церковью, между своими и русскими священниками. Но я часто задумывалась в тѣ годы: что мнѣ все-та-

ки чуждо в православной церкви? к чему я не могу привыкнуть? что меня временами даже пугает в ней?

Как-то в дѣтствѣ ѣздила я с сестрами и с мамой на богомолье на Печорскій ручей в Лужском уѣздѣ. Мы жили в то лѣто в деревнѣ Турово, в шести верстах от Луги. Печорскій источник прославился чудесным появленіем близ него иконы, не помню, какого святого. Весь окрестный народ узнал вскорѣ об исцѣленіях, полученных многими перед святой иконой, взволновался и толпами повалил на «Печоры».

В крестьянских телѣгах, на охапках сѣна, покрытаго старенькими коврами и брезентом, сосѣди-помѣщики и мы — дачники — поѣхали на богомолье.

Мнѣ на всю жизнь запомнился палящій полдень. яркія облаченія священников, их уставшіе, безразличные, монотонные голоса. Не смолкал скрип подъѣзжавших телѣг, тяжелая желтая пыль носилась в воздухѣ, забивая нам ноздри, пластом осѣдая иа разгоряченных сухих губах. Давка и толкотня в толпѣ была невѣроятная. Ѣдкій запах дегтя и пота смѣшивался с запахом новаго, нестиранаго ситца, а вздохи, поклоны, причитанія, даже жалостливые вопли — с руготней, с озлобленными пинками, с дурным любопытством...

И над всѣм этим стоял острый, страшный,

жалобный крик кликуши — рябой, неуклюжей, толстой дѣвушки, которую силком спускали с телѣги мужики, чтобы подвести под «кропленіе».

— Мама, за что ее так мучают? — в слезах спросила я, испуганно выглядывая из под маминаго локтя.

Двое мужиков грубо и дѣловито скручивали ей за спиной руки и зажимали рот, чтобы не давать ей кусаться, плевать, драться и цѣпляться за грядки телѣги.

Мама хотѣла сейчас же отвести меня подальше, на другую сторону ручья, но протиснуться в толпѣ было невозможно.

Жалѣл ли кликушу народ? Нѣт! С каким-то недобрым любопытством смотрѣл он на все происходящее... И чѣм больше билась кликуша, тѣм с большим удовлетвореніем ахал, восклицал, переглядываясь, народ. Молебна почти не было слышно, да и внимали ему меньше, чѣм кликушѣ.

Правда, когда ее пронесли к священнику, который помолился над ней и увѣренно, истово, нѣсколько раз подряд окропил ея лоб, грудь и руки святой водой — она утихла.

Назад она шла уже сама, едва держась на слабых, подгибающихся ногах, но спокойная и как будто сонная. С удивленіем всматривалась она в лицо мужика, который шел рядом, поддерживая ее под мышки. Так же сонно, мед-

ленно взобралась она на телѣгу. Народ, крестясь, молча провожал ее глазами...

Мы, дѣти, напились из жестяного ковшика, который передали нам из передних рядов, холодной, желтоватой святой воды, омыли лица, смочили волосы, как и всѣ вокруг нас. Потом попросили старших позволить нам поглядѣть на богомольцев, расположившихся станом поодаль ручья.

И тут опять стало немного жутко, потому что в толпѣ вскорѣ крикливо и задорно стали переругиваться бабы, а мужики, развалясь на травѣ, грубо горланить под гармонику пѣсни. Богомолье стало похоже на обыкновенную праздничную гулянку за выгоном у нас, в деревнѣ Турово. Разговоров о молебнѣ, разсказов о чудотворной иконѣ мы не услышали. Худенькая, суетливая старушонка в сарпинковом платочкѣ похваливала, охая, богатую, расшитую золотом митру у отца протоіерея; купец в сѣром люстриновом жилетѣ и в бѣлой рубахѣ с засученными рукавами ругал рыжебородаго дьякона за то, что тот на возгласах «не больно-то старается, голос бережет». Словом, спорили, зѣвали, закусывали, хохотали, дремали, переругивались, говорили об облаченьях, о митрах, сплетничали о пріѣзжих помѣщиках, о попах – вот и все, что представилось нам послѣ торжественнаго молебна у Печорскаго ручья и чудеснаго исцѣленія на наших глазах бѣсноватой!

Мама огорченно и даже испуганно велѣла поскорѣе запрягать и возвращаться домой...

XXII
СЕСТРА ЕВДОКІЮШКА

А когда я уже подросла, было еще одно впечатлѣніе от «православія в быту», которое тоже привело меня в смущеніе.

Иногда заходила к нам на кухню сестра Евдокія, монашка из Валдайскаго монастыря. Ее посылали в Петербург за сбором. Любила она засиживаться у Насти в гостях. Я уже отвоевала себѣ право сидѣть в эти часы на кухнѣ.

Была сестра Евдокіюшка черноглазая, востроносенькая, веснушчатая, еще не старая женщина. Говорила тихим, ласковым голосом, нараспѣв, и как будто всегда жалѣла кого-то: не то себя, не то нас, не то весь мір. Но эта жалость была совсѣм непохожа на жалость бабушкиной Стеши, которая сама стѣснялась ея. Нѣт, сестра Евдокія любила сокрушенно покачивать головой, растроганно говорить, вздыхать, кланяться. А кланялась она плавно, гибко, красиво. И так же плавно текла ея рѣчя.

Любила я ее разспрашивать про службы в монастырѣ.

— День и ночь молимся, — умиленно отвѣчала она и принималась перечислять, по скольку часов идет ночами утреня, сколько часов

подряд читают каѳизмы... Настя, с чувством полнаго своего недостоинства перед ней, прислуживала ей, бѣгала за свѣжим ситным хлѣбом с изюмом, заваривала крѣпкій кофе, который сама бы не смѣла пить. Покупала даже на двугривенный рахат-лукуму, до котораго сестра Евдокія была охотница.

Мама выносила на кухню два рубля: один — на монастырскія нужды, в кружку, другой — на собственные Евдокіюшкины расходы. Вздыхая, принимала сестра Евдокія деньги, благодарила усердно, но с большим достоинством.

Когда она уходила, я набрасывала себѣ на голову черный гимназическій передник, скрѣпляла его французской булавкой под подбородком, плавно ходила по комнатѣ, останавливалась, кланялась и на всѣ вопросы воображаемаго собесѣдника отвѣчала:

— «Спаси, Господи».

Сестра Евдокія, по словам Насти, совсѣм не грѣшила, ни в чем, никогда; но нам, «окаянным», это конечно, не дано. Мы можем только плакать о наших грѣхах и служить, чѣм и как умѣем, таким праведным людям.

Слушая слова Насти, сестра Евдокія опускала глаза еще ниже и только вздыхала. А потом нравоучительно говорила:

— И ты, Настюшка, можешь так жить. Читай Евангеліе, посланія Апостолов, молись — и ты перед Господом оправдаешься.

Настя только безнадежно трясла головой.

Но вот произошло у нас раз на кухнѣ нѣчто такое, от чего я взяла под сомнѣнье, «оправдается» ли и сама безгрѣшная сестра Евдокія.

Был у Насти жених — плохонькій портной, который ждал, когда Настя и он сам скопят немного денег, чтобы пожениться. Мама хотѣла им помочь сыграть свадьбу, хотя и жалѣла отпускать Настю. И вдруг, портной, напившись на новосельи у брата, сломал себѣ руку и остался полукалѣкой. Мы всѣ страшно жалѣли его и горевавшую Настю, но помочь было трудно.

Когда перед постом сестра Евдокія пріѣхала из Валдая «на сбор», Настя разсказала ей о своей бѣдѣ. В слезах просила ее помолиться, достала из старой коробки отложенный рублик и передала ей с поклоном. Сестра Евдокія, сокрушенно покачав головой, сказала:

— Ему Господь подѣлом посылает наказаніе. Что посѣешь, то и пожнешь, милыя вы мои.

— Как это подѣлом? — оторопѣла Настя.

И тут сестру Евдокію словно прорвало! Бойко, весело, почти грубо затараторила она, что жених-то у Насти озорник — в прошлый раз над монашками пошутил, да посмѣялся — вот ему и кара от Господа! И посыпала такими примѣрами — весело. ехидно, задорно, о всѣх, кого знала в своей жизни из «согрѣшающих» и покаранных, — словно эти примѣры человѣческих страданій за грѣхи доставляли ей огромное

удовольствіе... Откуда что взялось! Лицо загорѣлось, голос из слащаваго стал грубоватым, улыбка — открыто недоброй...

Настя растерялась. Сначала, еще по привычкѣ, вздыхала, приговаривая: «твоя правда, сестрица, всѣ мы поганые, безпутные», но в глазах у нея уже испуганно заметался огонек тревоги за то, что здѣсь что-то очень неладное... Мнѣ же сразу стало непріятно, стыдно, и за себя, и за нее, и за Евдокію... Что-то внезапно рухнуло в моем полувосторженном отношеніи к монашкѣ...

Мнѣ захотѣлось уйти к себѣ. Я поднялась с табуретки и вдруг увидѣла в дверях у порога маму. Она молча слушала Евдокіюшкины рѣчи.

— Хорошо, иди к себѣ, — сказала мама, увидѣв мое движеніе.

На ея голос сестра Евдокіюшка быстро обернулась и тоже приподнялась с своей табуретки. Она захотѣла принять свой обычный елейный вид, но мама смотрѣла на нее так строго, что она растерялась.

— Я запрещаю в моем домѣ сплетни, пересуды и осужденія, — медленно и раздѣльно сказала мама, как говорила всегда, когда бывала очень недовольна. — Хотя я и не монашка... А вам стыдно разсуждать о том, за что кого Бог карает! Да еще злорадствовать! Ваше дѣло молиться Богу о своих и о наших грѣхах... Пожалуйста, больше к нам не приходите.

Вот вам деньги.

Монашка с сокрушеніем взглянула на маму, как будто пожалѣла ее за ея неразуміе. Вздохнув, взяла деньги, завязала их в угол платка, поклонилась образам, потом мамѣ, поцѣловала Настю и, не допив кофе, пошла к дверям. Сняв с гвоздя свое пальто, она невѣрным голосом сказала: «Спаси, Господи».

— В деньгах, впрочем, не отказываю, — поправилась мама, смягчив тон. — Можете и дальше получать то, что получали до сих пор... Но никаких чаепитій и болтовни с пересудами!... Поняли?

— Спаси, Господи, — чуть слышно вздохнула в дверях монашка.

XXIII

МЕЖДУ ПРАВОСЛАВІЕМ И ГРЕГОРІАНСТВОМ

Опять зазіяла передо мной огромная пропасть между возвышенной по своему духу, внѣшне благолѣпной православной церковью и так часто встрѣчающейся грубостью, невѣрностью, даже жестокостью православных людей и их быта, казалось бы связанных с церковью... Никогда не видѣла я этой пропасти в нашей армянской церкви и в нашем быту... Сколько человѣк из папиной родни погибло во время армянской

рѣзни, открыто исповѣдуя свою вѣру перед мусульманами. Но всѣ они были скромными обывателями, которым даже в голову не приходило разсуждать о праведности или неправедности Божьяго суда над людьми... Торговали, трудились, попивали кизлярскія кисловатыя вина, хмѣлѣли, веселились, ходили только к воскресным обѣдням, но... ходили с опущенной головой, не замѣчая ни чужих промахов, ни чужих грѣхов. Никогда не слышала я, чтобы у нас «обсуждали» богослуженье! Всякая обѣдня была от Бога, а потому всегда о ней говорили сдержанно, почтительно и тихо. Также и о священниках, считая самих себя младшими и недостойными в сравненіи с ними... Как бы удивился какой-нибудь хилый, юркій винодѣл из Дагестана — дядя Минай, — если бы ему при жизни сказали, что он умрет за вѣру! А, вѣдь, умер! Перекрестился, положив крест по-армянски (с лѣваго на правое плечо), и этот «невѣрный» по православному крест принес ему вѣрность в смерти за Христа...

Часто говорили мы с Тамаринькой, втихомолку, обо всем этом, сидя друг у друга до полночи на постелях... Армянки по крови, русскія по воспитанію, мы хотѣли однѣ, без помощи взрослых, найти какой-то вѣрный для души путь... И путь этот становился яснѣе, когда вспоминался ласковый, сознававшій свою человѣческую немощь и слабость, русскій батюш-

ка Іаков... Или молоденькая, богобоязненная, скромная Стеша, плакавшая от почтительнаго умиленія перед молитвами моей бабушки Лизы... И, конечно, сама бабушка, с ея истовым и покорным:

— Ко камкн э.

Может быть, было бы еще лучше, если бы бабушка научилась к тому же читать каѳизмы в православном монастырѣ — этого мы не знали... Но Евдокіюшкины каѳизмы нас больше не плѣняли...

И почувствовали мы в мірѣ два лагеря людей, различаемых далеко не по признаку православія или армяно-грегоріанства...

А церкви мы любили обѣ. Армянская церковь говорила больше нашему воображенію, приближая нас к тѣм странам и народам, среди которых жил Христос. Когда в учебникѣ Закона Божьяго мы разглядывали (чуть ли не в сотый раз!) картинку с надписью: «и, воспѣв, взошли на гору Елеонскую», — развѣ не слышались нам тѣ же чудесные, грустные мотивы, какіе мы так хорошо знали по нашей церкви? Развѣ не походили лики апостолов на тѣ лица, что мы постоянно видѣли во время наших богослуженій среди священников и пѣвчих?... И все-таки это ровно ничего не отнимало от восторженнаго удивленія перед службами даже в ближайшей к нам православной Спасской церкви, от радости пѣть в гимназическом хорѣ...

А в каком ликующем умиленіи слушали мы разсказы о жизни и о чудесах уже покойнаго в то время отца Іоанна Кронштадтскаго! С каким благоговѣніем смотрѣли мы на мальчика-калѣку, сына доктора, жившаго с нами по одной лѣстницѣ, исцѣленнаго во время обѣдни в Кронштадтском соборѣ?

И когда пришла пора «религіозных сомнѣній» (почти никого из нас, подростков, не миновавшая), — бытовыя уклоненія уже не смущали нас. Мы уже научились отметать их, как ненужный, случайный сор.

* * *

Впрочем, сомнѣнія в вѣрѣ пришли значительно позже. А до этого пришло нѣчто другое... тоже взволновавшее и встревожившее душу.

Огромное міровое событіе, о котором я вскорѣ услышала, переплетено в моем сознаніи с очень яркими, но полудѣтскими впечатлѣніями одного памятнаго августовскаго дня. И если бы меня тогда спросили: «что поразило тебя в августѣ 1914 года?», я бы отвѣтила:

— объявленіе войны,

— знакомство со страшным псом Булем,

— страх перед привидѣніем в Чесноковской усадьбѣ.

XXIV

ЧЕСНОКОВСКАЯ УСАДЬБА

В первый раз я увидѣла Буля у дверей особняка, мимо котораго я каждый день проходила с Тамаринькой в гимназію... У подъѣзда стоял в то утро маленькій синій автомобиль Вѣры Павловны Савич, маминой пріятельницы и заказчицы, а в нем рядом с шофером сидѣл бульдог. Был он темно-дымчатый, лоснящійся, с крутой, узловатой грудью, с крѣпкими кривыми передними лапами. На толстой, напряженной, тоже узловатой шеѣ блестѣл стальными бубенцами ошейник, отороченный сѣдой, жесткой щетинкой. Слюнявую жабью морду обхватывал тугой намордник. Про Буля я слышала от Вѣры Павловны много страшных вещей: ненавидит и взрослых и дѣтей, загрыз двух кошек, сражался в деревнѣ с коровой (мужики пригрозили убить его за это). Раз бросился на Моховой улицѣ на прохожаго, вцѣпился ему в грудь, разорвал сквозь намордник ему пальто. Кромѣ хозяев, шофера и горничной Груши, Буль никого к себѣ не подпускал. Поэтому прислугу в домѣ Савич не мѣняли. Шофер пьянствовал, грубил, но знал, что ему господа все-таки не откажут.

Увидав перед собой легендарнаго пса, я не удержалась от любопытства: подошла к окну автомобиля и стала его разглядывать. Замѣтив меня, он вздрогнул, выпрямился, еще бо-

лѣе выпятил грудь, переставил на кожаном сидѣньи свои крѣпкія лапы. Потом лѣниво зѣвнул, уронил на грудь слюну и с отвращеніем от меня отвернулся.

И я с отвращеніем отошла.

В тот год мама рѣшила не закрывать салона на лѣто, и мы впервые остались без дачи. Как-то пріѣхала к нам Вѣра Павловна и уговорила маму отпустить меня на недѣльку в ея усадьбу под Павловском.

Мама сначала запротестовала:

— Невозможно, невозможно, у вас там этот страшный Буль. Не покусал бы он ее.

— Буль живет во флигелѣ и гуляет на свободѣ только вечерами. Он жары не переносит. А днем его выводят только на задній двор.

Маму уговорили. Послѣ завтрака Вѣра Павловна и я сѣли в синенькій автомобиль. Сначала мы поѣхали к Окружному суду, подождали у подъѣзда, пока не спустился к нам Савич. Потом, с ним вмѣстѣ покатили по чудесному шоссе, через Павловск, в Чесноковскую усадьбу.

Пріѣхали. Поднялись на стеклянную веранду, гдѣ Груша уже накрывала стол цвѣтистой чайной скатертью.

Я взглянула сверху на широкую отлогую поляну, на которой виднѣлся огромный ворох скошенной травы, и крикнула:

— Вѣра Павловна, смотрите, перепрыгну

или нѣт?

— Ну, ну, бѣги!

Я помчалась по краю луга, вдоль самой дорожки, и уже начала забирать влѣво, мимо смородинных кустов, как раздались отчаянные крики Вѣры Павловны. Слов я не разобрала. Хотѣла остановиться, но ноги сами несли меня вниз по полянѣ. Позади послышался легкій топот собачьих пяток, и по дорожкѣ, залитой солнцем, комком покатилась чья-то короткая тѣнь.

— Буль сорвался, — крикнул кто-то с балкона.

Я со страху запуталась ногами в валявшихся у вороха граблях и упала ничком в скошенную траву, а за мной грохнулся мнѣ на шею страшный сопящій звѣрь.

Но он не укусил меня, а, соскочив с моей спины, принялся, лая и рыча, разбрасывать во всѣ стороны скошенную траву.

Я подняла голову и увидѣла, что намордника на нем не было.

Когда Савич, с граблями, и шофер, с намордником и с плетью, подбѣжали к нам, — Буль, низко присѣв на всѣ четыре лапы, подполз ко мнѣ, спрятался за моей спиной и, просунув морду у меня под рукой, посмотрѣл на всѣх виноватым, умоляющим взглядом... Но его все же изловили и увели во флигель.

* * *

В Чесноковском домѣ, бѣлом, одноэтажном, самыми интересными комнатами были библіотека и карточная.

В библіотекѣ, правда, книг не оставалось, но за стеклянными дверцами стояли глиняныя фигурки, которыя неутомимо лѣпил во время своей странной и долгой болѣзни прежній чесноковскій владѣлец — старый барин Вс... скій. А в карточной висѣл его портрет над маленьким шахматным столиком, в углу.

К пятичасовому чаю пріѣзжали к Савичу гости из Петербурга — все судейскіе, с женами. Тогда Вѣра Павловна и дамы часами просиживали на верандѣ, пили чай со свѣжими «petits fours» из Павловска; а мужья, скинув пиджаки, играли в карточной комнатѣ в винт, острили и раскатисто смѣялись на весь дом.

Из угла смотрѣло на них из золотой рамы блѣдное, с голубоватыми, неживыми тѣнями, лицо покойнаго барина. У него были маленькіе, прищуренные, грустные глаза, растерянная, дѣтская улыбка. И если бы не сѣдые волосы и не военный мундир, то его можно было бы принять за болѣзненнаго мальчика-подростка. Но мнѣ страшен был красный платочек, плотно облегавшій его худую шею... Не оттого ли, что я не раз слышала о красненьком шейном платочкѣ, которым мужики прикрыли лицо своего

барина, вытащив его, уже мертваго, из-под разбитаго экипажа под горкой на шоссе? Прошли десятки лѣт, а скорбная тѣнь полоумнаго барина-старика все еще появлялась ночами, если вѣрить словам прислуги, в залѣ и в библіотекѣ Чесноковскаго дома.

Как-то под вечер Савич вернулся из Петербурга раньше обыкновеннаго. Мы с Вѣрой Павловной еще не успѣли доиграть положенное число партій на крокетной площадкѣ, как увидѣли его в аллеѣ. Он почти бѣжал к нам со своим пріятелем поляком Марцинкевичем.

— Господа, господа, — заговорил он, добѣжав до площадки и даже не поздоровшись с нами, — произошло необычайное событіе... Война... Понимаете, война...

Он остановился и оглядѣл нас так театрально-взволнованно, как будто перед ним была зала суда, а не крокетная площадка с двумя игроками в батистовых платьях и в соломенных панамах.

— Ничего не понимаю, — прошептала Вѣра Павловна и сѣла прямо на траву, отбросив ногой деревянный шар.

Марцинкевич подошел к ней, низко поклонился, поцѣловал ея руку и тоже немного театрально сказал:

— Вѣра Павловна, мы стоим перед моментом чрезвычайной важности... Россія объявляет войну Германіи и... Это же необыкновенно зна-

чительно и серьезно!

Он прикрыл глаза и минутку постоял так, не двигаясь...

Потом мы всѣ поднялись на веранду к обычному пятичасовому чаю. Но разговоры были совсѣм необычными.

Смущенная и немного испуганная ими, я пожалѣла, что не могу сейчас же ѣхать домой. А каково же стало мое положеніе, когда мнѣ пришлось остаться совсѣм одной на всю ночь в усадьбѣ!? Савич, Вѣра Павловна и прокурор почему-то рѣшили немедленно выѣхать на автомобилѣ в Петербург и вернуться на другой день к обѣду. Меня же оставляли на попеченіи Груши и экономки Федосьи Федоровны.

XXV
СТРАШНАЯ НОЧЬ

Оставшись одна, я долго сидѣла, согнувшись и обхватив руками колѣна, на широкой баллюстрадѣ балкона, смотрѣла на красноватое зарево заката за садом и деревней. Вспоминались описанія всѣх войн, добросовѣстно пройденных по учебникам... В головѣ мелькала очень точная хронологія, имена полководцев, названія мѣст сраженій, перечисленія всяческих пріобрѣтеній и выгод от договоров, — но никакой картины войны не вставало. Теперь же, когда ничего еще не произошло, но когда бой-

на стала близкой дѣйствительностью, невозможно было спокойно перевести дыханіе от тревожнаго трепета и от предвидѣнья страшных и торжественных картин...

Приближались сумерки. Сад, деревня и небо над ними стали медленно, успокоенно темнѣть... Мой внезапный душевный трепет тоже смѣнился усталостью и успокоеніем.

Я соскочила с баллюстрады, прошла в библіотеку, зажгла свѣчи, взяла с полки Quo Vadis; присѣв на пуф у шахматнаго столика, стала читать. И вдруг, взглянув на портрет в углу, вздрогнула, вскочила и схватила со стола серебряный колокольчик... Пришла Груша.

— Вы уже приготовили мнѣ постель, Груша?

— Да, барышня, в залѣ на большом диванѣ постелила... Все-таки ближе к нам спать будете... Тут только карточная, передняя, коридорчик — а за коридорчиком уже людская... Захотите позвать – я услышу. А Федосью Федоровну все равно не добудитесь... На антресолях не слышно.

— Зачѣмъ мнѣ вас звать... Я постараюсь никого не безпокоить, — нерѣшительно отвѣтила я. — Да я сейчас уже лягу...

Мы прошли вмѣстѣ в залу, гдѣ на огромном низком диванѣ была приготовлена моя постель. Перед диваном, на столикѣ, стоял глиняный горшочек с простоквашей; тут же суха-

рница с мелкими черными сухариками, тяжелый чугунный канделябр с двумя розовыми свѣчами. Груша принесла мнѣ еще из карточной комнаты колокольчик и коробку спичек

— Ну, теперь, кажется, все у вас есть. Мнѣ можно идти?

Идите. Спокойной ночи.

Я слышала, как она, проходя через переднюю, осторожно и плотно прикрыла двери.

— Почему она так затворяется от меня? — подумала я. — А сама говорит, что только позову — услышит!

Я уже хотѣла снова позвать ее, но мнѣ самой было неловко признаваться в своей подозрительности и трусости.

— Чушь, чушь, не надо ни о чем думать. Помолюсь и буду спать, — сказала я себѣ, и задула свѣчу.

Ночью я проснулась.

В домѣ было глухо и совершенно темно. Но време-ами издали доносилось едва уловимое ухом. странное шуршанье, а вслѣд за ним слабое потрескиванье половиц. Я присѣла на постели и стала прислушиваться... Шорох не прекращался.

— Груша, — позвала я нерѣшительно. Конечно, такого зова она услышать не могла.

Босиком, осторожно ступая по паркету, стараясь не шумѣть, чтобы не привлечь на себя вниманія того невидимаго, кто шуршал и скри-

пѣл в глубинѣ дома, я прошла в переднюю. Там было тихо. Из передней я так же безшумно прошла в коридорчик и остановилась перед дверью в людскую. За ней было тоже тихо, но не совсѣм темно. Полоса желтоватаго свѣта лежала на полу под этой дверью.

— Груша! — еще раз позвала я.

Отвѣта не послѣдовало. Тогда я толкнула дверь. Комната была пуста. На кровати с высокой горой подушек и с цвѣтным пикейным покрывалом лежали брошенные, повидимому, наспѣх платье, передник и накрахмаленная кружевная плойка Груши. На столѣ горѣла керосиновая лампа с сильно спущенным, почти притушенным фитилем.

— Плясать ушла. Обрадовалась, что господ нѣт и тайком ушла... — догадалась я: — Значит, я в домѣ одна... Только Федосья Федоровна на антресолях...

Опять притворив плотно всѣ двери, я вернулась в залу и легла, не без внутренняго колебанія погасив свѣт... Полежала еще нѣсколько минут с закрытыми глазами... и вдруг услышала, что шорох совершенно явственно приближасся со стороны чулана и задняго крыльца... Я снова открыла глаза и замѣтила какіе-то голубоватые блики, бѣгущіе от окна, которых до сих пор в комнатѣ не было... — Почему так жутко именно то, что они голубоватые? Что они напоминают мнѣ? — испуганно поду-

мала я. И вдруг вспомнила блѣдное, с голубоватыми неживыми тѣнями лицо, смотрѣвшее из тяжелой золотой рамы в углу карточной комнаты...

— Полоумный барин! Это он бродил по саду и возвращается теперь, на ночь, в свой дом, гдѣ ему сегодня не мѣшают люди...

Дрожащими руками я стала нащупывать на столѣ коробку спичек... Уронила ее на пол, вмѣстѣ с колокольчиком, который, жалобно зазвенѣв, покатился по коврику под рояль... Там он нѣсколько раз вздрогнул, простонал и замер... Я соскочила на коврик подбирать разсыпавшіяся спички... В это время дверь из коридорчика в переднюю, скрипнув, отворилась. Послышались легкіе, вкрадчивые шаги и чье-то прерывистое дыханье... Я снова прыгнула на диван, похолодѣв, прижалась к его стѣнкѣ, перекрестилась и в отчаяньи обреченности услышала, как скрипнула дверь карточной комнаты и кто-то вошел в нее... Безпорядочный, мутный бой собственнаго сердца оглушил меня... Застонав, я упала грудью на диван, в подушки...

Кто-то невидимый медленно вошел в зал и остановился, словно прислушиваясь к моему стону... Потом, неожиданно фыркнул, чихнул и, сопя, приблизился к дивану.

— Буль! — закричала я с радостью. — Буль, скорѣй, скорѣй сюда!

Я хлопнула в темнотѣ по дивану ладонью...

Буль медленно подошел ко мнѣ, лѣниво залѣз на диван, вплотную подсунул к моему лицу свою слюнявую морду. Я обняла ее и облегченно заплакала. По его сопѣнью и по тому, как привѣтливо ерзал он кончиком своего обрубленнаго хвоста по дивану, я поняла и его настроеніе: покинутый всѣми на ночь во флигелѣ и он, не меньше меня, был счастлив встрѣтить в домѣ живое существо.

Я уже больше не пробовала зажечь свѣт. Страхи прошли. Война была еще гдѣ-то далеко, полоумный барин не бродил по опустѣвшему дому... А третья опасность — легендарный звѣрь Буль — мирно сопѣл рядом со мной, уткнув жабью морду мнѣ под мышку.

Голубоватые лунные блики уютно освѣщали наш диван...

XXVI

1914 ГОД

Через два дня я уже окончательно вернулась в Петербург, восторженно возбужденный и все же тревожный.

По утрам, спросонья, мнѣ казалось, что под окнами нашей квартиры, ожесточенно и продолжительно по времени, выколачивают какіе-то гигантскіе ковры. Я вскакивала, распа-

хивала окна — ровным энергичным шагом шли солдаты, словно разрѣзали воздух, хлопая тяжелыми подошвами по асфальту. Иногда, в такт этим ударам сапог, раздавалось сипловатое и все же пронзительное посвистываніе (через стиснутые зубы!), какого я ни у кого кромѣ русских солдат не слыхала. Гдѣ-то впереди глухой, но вѣрный голос запѣвал пѣсню; ее дружно подхватывали в рядах:

«Соловей, соловей, пташечка,

«Кинареечка, жалобно поет!

«Эх, раз, эх, два, да горе не бѣда...».

На послѣдней фразѣ солдаты проявляли необыкновенную изобрѣтательность: свистали сразу же на нѣсколько ладов, дружно вздыхали... Внезапно появлялся в хорѣ дискант. Крикливо, по-бабьему, выводил он верхній голос.

Стройными, величественными, спокойными рядами проходили под нашими окнами преображенцы с прекрасным духовым оркестром.

Проѣзжали казаки, которых я все свое дѣтство боялась за их бороды, папахи, пики, за отважную озорную ловкость в движеніях.

Теперь и они казались трогательными.

Вообще, причин для слез было много. А плакала я всегда легко и вволю. Встрѣчала ли я в дѣтствѣ на прогулкѣ с Нешей толпу каторжан в сопровожденіи солдат с шашками наголо — я плакала. Рядом со мной вздыхали и плакали, остановившись на тротуарѣ, сердоболь-

ныя женщины — старыя и молодыя — и отпускали им вслѣд самыя ласковыя словечки: «горемыки, болѣзные, родимые». Иногда кто-ни будь из толпы подбѣгал к солдатам, прося передать «горемыкам» пятачок, булку или колбаски.

Я хорошо знала, что такой «горемыка», может быть, убил, ограбил или изуродовал человѣка! — Но кандалы, опущенныя бритыя головы, какое-то удивительное, почти благочестивое смиреніе в их шагѣ и сочувствіе к ним толпы — все это заставляло и меня плакать.

Проѣзжала ли изрѣдка по Шпалерной улицѣ придворная карета с гайдуком в красной ливреѣ, а из окна кареты скромно и степенно смотрѣла на толпу без шапок и на низкіе поклоны сама Государыня — мы с Нешей опускали головы и, обѣ, утирали слезы умиленья.

Много плакала я и теперь, в первый год войны, глядя на старательный и, как мнѣ казалось, обреченный шаг солдат, слушая героическіе звуки духовых оркестров.

Сначала мы, гимназистки, примыкали к группам «старших», окружавших митинги перед зданіями посольств, чтобы услышать и увидѣть необыкновенный энтузіазм ораторов и их слушателей. Но скоро меня стала пугать толпа чѣм-то нездоровым и даже, пожалуй, фальшивым. Выходило так, как будто бы у всѣх у них в жизни самым больным мѣстом были

именно нѣмцы, и стоит излить на них всю силу своего негодованія, как все на свѣтѣ пойдет прекрасно! Случайные ораторы призывали ненавидѣть и громить нѣмцев даже в городѣ, а это нас отталкивало и фальшью и жестокостью. Как могла бы я так внезапно возненавидѣть Нешу, фрелейн Зидлер, фрау Гартвиг или даже совсѣм чужого мнѣ хромого настройщика из музыкальнаго магазина Розэ? Эта неназисть горожан ничуть не напоминала героическаго патріотизма фронта, побуждавшаго нас и в гимназіи и в церкви горячо молиться за христолюбивое воинство и желать ему побѣды.

Мама сразу почувствовала всю ненужность этих уличных сцен и постаралась отвлечь наше вниманіе другим: дѣлами женскаго милосердія к семьям новобранцев. По нѣскольку раз в недѣлю стали приготовлять у нас в домѣ продовольственные пакеты из риса, макарон, колотаго сахара, кубиков бульона магги и т. п. Все это собирали по доброму желанію наши друзья, знакомые и мы сами. Пакеты надо было разносить по самым бѣдным районам Петербурга, по комнаткам и углам солдатских семей. Я попросила маму позволить мнѣ хоть раз быть разносчицей в помощь старшей сестрѣ. Мама колебалась. Вся родня отговаривала ее «показывать» дѣвочкѣ с этих лѣт «нищету».

Мама думала нѣсколько дней и вдруг очень

рѣшительно мнѣ сказала:

— Ничего. Пойди с Лизанькой. Соблазны узнавать рано, а нищету всегда пора... Жалѣть людей научишься... Иди, Чиж, иди. Только слишком много не хнычь и не распускайся.

Нам намѣтили Вульфову улицу, гдѣ гнѣздилось много бѣды и горя в тот год.

XXVII

БѢДНОТА

В одно воскресное утро мы с Лизанькой поднялись по лѣстницѣ громаднаго грязнаго дома на Вульфовой улицѣ в четвертый этаж. Нас провожал дворник с книгой и с цѣлой пачкой мелко-исписанных листков. Молодой, веселый и не очень расторопный, он сбивчиво перечислял имена и фамиліи солдаток, одиноких и многосемейных, отправивших мужей на войну и оставшихся жить по каморкам и по углам.

Первое, что меня здѣсь поразило — это были дѣти. Цѣлая стая большеголовых, бѣлотѣлых, кривоногих ребятишек сидѣла на каменном полу коридора. Перед ними, по лужѣ грязной воды, натекшей из-под дверей уборной, плавала цѣлая флотилія спичечных коробок с бумажными парусами... Босыя, в распашонках, дѣти были грязны, нечесаны и, как старики, серьезны и унылы.

Когда мы прошли мимо них, онѣ проводили нас с непріятным и недоброжелательным любопытством в глазах.

В первой от площадки лѣстницы комнатушкѣ не было окна. Свѣт падал в нее только из растворенной в коридор двери. В ней жило восемь человѣк. Больная женщина (молодая или пожилая — в темнотѣ различить было невозможно) стонала на полу в душном углу. Лизанька спросила, давно ли она болѣет и чѣм? была ли у доктора? Дала ей денег и попросила сосѣдку отвести ее на пріем в Обуховскую больницу. Впрочем, посланная только к солдаткам, Лизанька, увидя такую нищету кругом, стала раздавать и пакеты и деньги всѣм, кого встрѣчала здѣсь. Выбирать было невозможно.

В одной комнаткѣ, свѣтлой и довольно опрятной, топилась плита; на плитѣ что-то булькало в чугунном котелкѣ. Но солдатка, которая жила в ней с четырьмя дѣтьми, была косноязычной и придурковатой. Это произвело на нас очень тяжелое впечатлѣніе. Старшій сын — четырнадцатилѣтній здоровый, плечистый парень, который выглядѣл на всѣ восемнадцать был почти идіотом и ничего путнаго не мог нам объяснить. Двое младших мальчуганов были славными, живыми, но очень тщедушными дѣтьми. А рыженькій грудной малыш мнѣ запомнился на всю жизнь. Спеленутый, лежал он

на узком подоконникѣ и как-то странно покачивался, словно сам себя баюкал. Окно во двор было настежь раскрыто.

— А вдруг упадет? — тревожно сказала Лизанька и сдѣлала движенье к нему.

— А пусть яво... — медленно и раздѣльно произнесла женщина и тупо посмотрѣла на нас.

— У ней их и без ево трое, — засмѣялся дворник. — А муж в войну забрат...

Лизанька растерялась на такой отвѣт... Опустила голову, помолчала. Потом порылась в кошелькѣ, дала нѣсколько оставшихся монет, поклонилась и, подталкивая меня за плечи перед собой, вышла в коридор.

XXVIII

ОБ ИЗЯЩНОМ ПАТРІОТИЗМѢ

Скоро такія посѣщенія солдаток перешли на очередь к другим знакомым, а нас стали посылать из дома щипать корпію или шить для фронта мѣшки и кисеты.

Чаще всего собирались мамины знакомыя дамы с дочками-подростками в особнякѣ княгини Бѣлосельской на Шпалерной улицѣ. Иногда — у извѣстнаго богача-армянина Лазарева, на Сергіевской. Меня рѣдко брали в «благотворительныя мастерскія», чтобы не слишком отрывать от гимназической жизни. Но когда мнѣ

приходилось входить с мамой в такой особняк, садиться гдѣ-то на краю огромнаго стола, разставленнаго на бѣлом пушистом коврѣ в узорах из ровненьких гирлянд (empire!), — я робѣла. На столѣ лежали вороха суроваго грубаго холста для солдатских мѣшков. Рядом — груда тоненьких полотняных тряпок из добротнаго, дорогого, но уже отслужившаго господскаго бѣлья — особенно хорошо пригоднаго для корпіи. Не проходило и часа, как лакей разносил чай в чашках из полупрозрачнаго желтаго граненаго стекла, свѣжіе сухарики и petits fours от Терно...

Не смѣя критиковать, сама пугаясь своих внутренних протестов, я все же не могла не сжиматься от какой-то неловкости. Было много ненужнаго в этом сантиментальном самолюбованіи «изящным» патріотизмом... Для моего полудѣтскаго сознанія того времени Вульфова улица была слишком тяжела и до жуткости груба. Добровольная же аристократическая «мастерская» с чаепитіем на Шпалерной улицѣ — слишком театральна... И то и другое еще не давало представленія о жизненной подлинности войны.

Но вскорѣ на смѣну этим первым впечатлѣніям о войнѣ (гдѣ-то вдалекѣ происходящей) пришло нѣчто истинное, кровно съ нею связанное и ее внезапно к нам приблизившее своими страданьями: лазареты. Впрочем, об этом позже.

XXIX

НЕИЗЖИТЫЯ РАДОСТИ

Наша домашняя жизнь сильно измѣнилась в тот год. Мамѣ пришлось закрыть салон на Литейном проспектѣ, который кромѣ убытка и хлопот ничего не давал.

Мы опять стали мечтать о нашей уютной квартиркѣ на Кирочной улицѣ. И как обрадовались мы, узнавъ, что она должна вскорѣ освободиться и что хозяин согласен оставить ее за нами! Послѣдніе месяцы в нарядной, огромной и всегда остававшейся немного чужой квартирѣ на Литейном проспектѣ я не жила, а перемогалась.

Возвращаясь из гимназіи домой, я нарочно дѣлала иногда крюк, чтобы проводить кого нибудь из подруг, живших вблизи Кирочной. Там я заходила в табачную лавку, гдѣ столько лѣт подряд покупала в дѣтствѣ плѣнительныя, до сих пор незабываемыя картинки для моего красненькаго сафьяноваго альбома. Вспоминала, как, ерзая колѣнями по табурету перед прилавком (казавшимся тогда высоким и неудобным), я вздыхала, вскрикивала, задумывалась в любованіи ангелочками, розами, бутоньерками из незабудок, дѣтскими головками, изображенными на этих картинках. А лошадки?! А псы, псы?? Перелистывая в желтых папковых тетрадях страницы, к которым были прикрѣплены

эти сокровища, я приходила в особенное волненіе при мысли, что нужно сдѣлать выбор между ними.

Русскія борзыя с подтянутыми животами, чертяки-пуделя, фоксы, огромные нью-фаундленды – всѣ мои любимые друзья, кто из них был забавнѣе, милѣе, трогательнѣе? Я отцѣпляла с листа то одного, то другого пса, соскакивала с табурета к окну, любовалась, совѣтовалась с приказчиком, с Нешей. Потом принимала из рук сжалившейся надо мной Неши цѣлую охапку «песьих портретов» и неслась через улицу домой. А дождавшись папинаго прихода — расклеивала их с папой вмѣстѣ на зеленом столикѣ дѣтской по страницам красненькаго альбома...

Теперь не было больше со мной ни Неши ни папы. И самый мірок дѣтства, чуть-чуть неправдоподобный своим удивительным уютом и мечтательным бытом нашего дома, ушел навсегда. А я еще не могла без волненія входить в такую знакомую табачную лавку Гаврилова на Кирочной улицѣ.

Теперь я покупала в ней клеенчатый брульон, перья, записную книжку. Но как тянуло меня еще к картинкам, к гофрированной яркой папиросной бумагѣ, к толстым цвѣтным карандашам!

Как стѣснялась я того, чтобы кто-нибудь из покупателей не вошел и не увидѣл меня

там. С изящной сумкой-портфелем подмышкой, с папкой для рисованія, с длинными косами, свисавшими до тоненькой, уже почти дѣвичьей таліи я должна была казаться смѣшной в минуты моего растеряннаго жаднаго любованья... дѣтскими картинками под стеклом прилавка.

Послѣ таких «вылазок» на Кирочную улицу я медленно шла по Спасскому переулку, чтобы никого не встрѣтить, и выходила к Спасской церкви. Иногда, постояв у ограды, шла дальше, иногда заходила в полукруглый сквер, гдѣ случалось в дѣтствѣ играть и бѣгать с бойкой русской дѣтворой из простонародья в тѣ дни, когда Неша почему-нибудь не могла вести меня в Таврическій сад.

С чѣм я в душѣ так особенно горько прощалась в тѣ памятные первые годы войны?

С дѣтством? Но оно ушло еще раньше.

Нѣт, не только с дѣтством.

Уходило еще что-то большее... Уходил привычный, налаженный ритм жизни, какія то основы не только дѣтства, но всего полусказочнаго мирно-величественнаго Петербурга.

С испугом прислушивалась я к шумам и к говору на улицах, приглядывалась к торопливой безпорядочности в магазинах, в трамваях, в домах. Самыя сумерки — мои любимыя петербургскія сумерки стали другими: неувѣренно торопливыми и безпокойными.

Наединѣ с собой я все время чувствовала

это безпокойство вокруг, и потому меня еще сильнѣе тянуло назад, в квартирку на Кирочной улицѣ, гдѣ, может быть, еще оставалось что-то от прежняго, с каждым днем удалявшагося, трогательнаго и казавшагося прежде вѣчным быта.

Но об этом я молчала. Молчала и ждала.

XXX
НЕОЖИДАННЫЯ БОГАТСТВА

В гимназіи дни текли попрежнему: дружно, весело, в живом общеніи с любимыми учителями, в литературных, театральных спорах между собой, в зубрежкѣ, которой теперь, при переходѣ в старшіе классы, от нас столи требовать больше.

Тамаринька и я были освобождены от платы за ученіе, ввиду трудности маминых денежных дѣл и в поощренье нашим хорошим успѣхам и поведенію...

Послѣ уроков Вѣра Николаевна часто просила меня остаться на полчаса в классѣ помочь кому-нибудь из неуспѣваюших учениц. Я, конечно, соглашалась и чувствовала себя даже обязанной что-то дѣлать для гимназіи. А кромѣ того, мнѣ самой начинал нравиться степенный и увѣренный в эти полчаса тон педагога, такой несвойственный мнѣ в жизни!

Правда, этот тон не всегда сохранялся. Иногда (в зависимости от того, кто был моей случайной ученицей) мы охрипали от хохота, перемазывались мѣлом, изобрѣтали даже какой-то полуворовской жаргон (для того, чтобы обѣим было «понятнѣе!»), расходились очень довольныя тѣм, что весело провели время. Но «педагогическій пыл» я все-таки ощутила уже тогда и, несмотря на хохот и шутки, всегда умѣла добиться добрых результатов.

Скоро мнѣ пришлось даже взять ученицу на дом. «Новенькая», пріѣхавшая откуда-то из Сибири, никак не могла догнать нас по языкам и по математикѣ.

Раз инспектор вызвал меня в канцелярію:

— Не думайте, что я вмѣняю вам в обязанность взять этот урок, — сказал он мнѣ. — Но вашей мамѣ тяжело сейчас живется. Почему бы вам не зарабатывать немного на свои тетрадки и книги? Может быть, на ученическій абонемент в воскресные дни в Александринскій или во Французскій театр? Это вам кромѣ пользы ничего не принесет. Госпожа Сѣдова предлагает 30 рублей в мѣсяц. «Жалованье» приличное, пожалуй, даже для солиднаго почтоваго чиновника, а не только для такой... несовершеннолѣтней учительницы, как вы, — засмѣялся инспектор.

— Слушаю. Я спрошу у мамы, — отвѣтила я, отвѣсила глубокій реверанс и степенно вы-

шла из канцеляріи. А за дверьми ея, по лѣстницѣ, вприпрышку помчалась в Тамаринькин класс разсказать о своем счастьѣ.

— Двадцать рублей будем каждый мѣсяц отдавать мамѣ, а десять рублей подѣлим на театры, — сразу же рѣшили мы обѣ, почувствовав себя и богатыми и счастливыми.

Но мама распорядилась нашим будущим богатством иначе, а возражать мамѣ становилось с годами все труднѣе.

— Три рубля будешь каждый мѣсяц посылать тайком в семью Оли Сиверской. Она не должна знать, от кого эти деньги. Два рубля будешь относить в армянскую церковь в пользу рененых армян-солдат. Остальные держите у себя в комодѣ и берите, по мѣрѣ надобности; на книги, тетради, ноты, на библіотеку, на театры. Отсюда же будете давать на разные гимназическіе сборы и тратить на всѣ ваши мелкія покупки. Но, в общем, вы — смѣшныя и глупыя дѣвочки: еще никто из вас ничего не заработал, а уже деньгами распоряжаетесь, как будто онѣ в карманѣ. Да еще меня к этому склоняете!

Скоро наши капиталы почти удвоились: Тамаринька получила два урока по скрипкѣ у дѣтей нашей сосѣдки. Денег мы не дѣлили: ни поровну, ни по каким-либо другим частям. Касса в розовой шкатулкѣ на комодѣ была цѣликом на нашем взаимном довѣріи и уваженіи к

нуждам и ея и моим. И в этом тоже сказался принцип маминаго воспитанія, не совсѣм обычнаго и понятнаго в семьях наших добрых знакомых: не приражаться сердцем к деньгам и не отстаивать своих хозяйских прав на них; особенно — между сестрами.

XXXI

ТЯГА К СЦЕНѢ

Обладаніе капиталами дало нам прежде всего возможность знакомства со всѣми, без исключенія, постановками Мейерхольда, с французским классическим репертуаром Михайловскаго театра, а также и с драгоцѣнными (хотя и потрепанными) томиками книг из театральной библіотеки на Ивановской улицѣ.

Да и у нас в шкафу замелькали корешки пьес Метерлинка, Леонида Андреева, Оскара Уайльда. Декламаціям, инсценировкам, драматическим импровизаціям в домѣ у нас не было конца.

Скоро присоедилась к нам Лизанька с подругами по консерваторіи. У них на первом планѣ были консерваторскіе концерты и спектакли в Музыкальной Драмѣ. «Маріинка» считалась уже в художественном отношеніи «полинявшей» — совсѣм как синевато-голубоватый бархат ея кресел и лож! Впрочем, иногда мы

забывали для нея и Александринку и Музыкальную Драму, — и дома чуть не цѣликом воспроизводили у рояля и посреди гостиной, перед огромным, вывезенным из маминаго моднаго салона трюмо, сцены из «Града Китежа» с Черкасской и Ершовым, или сценки из «Бориса Годунова»... ни больше ни меньше как... с Шаляпиным...

— Не я, не я убійца твой, — в трепетѣ, громким шопотом, произносила Тамаринька, выходя из дверей столовой спиной к нам (то есть к публикѣ)... А мы должны были с безпристрастной критикой оцѣнить, насколько трагически выразительна была ея «Годуновская» спина... Потом шли споры, и каждый демонстрировал выразительность своей спины, как мог.

На одной из «оперных сцен», дававших матеріала больше для голоса, чѣм для игры, произошло необыкновенное для меня событіе. Мама, которой было запрещено присутствовать на наших постановках, внезапно нарушив наше запрещеніе, появилась в дверях:

— Это кто из вас Февронію только что пѣл? Ты? — обратилась она ко мнѣ.

— Я, — недовольно отвѣтила я.

Мама задумалась. Потом, как бы отвѣчая самой себѣ, не глядя на меня, сказала:

— Пожалуй, пѣвицей будешь... Голосок есть и какая-то артистичность... Не знаю, может быть, это ... случайно...

Во всяком случаѣ пѣть полным голосом с этого дня мнѣ было запрещено... до совершеннолѣтія, когда можно будет начать учиться пѣнью.

Я протестовала:

— Я лучше в драму пойду! Хочу Антигону играть, Саломею Оскара Уайльда, герцогиню Падуанскую...

Впрочем, сначала еще надо было кончать гимназію, а там — открывались двери в такой невѣроятный по объему, по содержанію, по перспективам мір, что и предрѣшать нельзя было ничего.

XXXII
ПРИКРОВЕННАЯ ТРЕВОГА

Мір и личная свобода — заманчиво, страшно, соблазнительно и напряженно до какой-то внутренней оторопи — волновали и сердце и ум... И единственное, то понижало интерес к этому міру и к собственному будущему, — это все нарастающая увѣренность в близком крушеніи существующаго порядка. Как бы ни распахнулись двери в личную жизнь—общая жизнь всего, что до сих пор имѣло свой ритм, свое постоянство, свое лицо, уже стиралась. Причиной тому была и война, и драматическая суетность окружающей обстановки, и что-то еще болѣе страшное, настигавшее жизнь...

Только раз заговорила я об этом с Тамаринькой ночью и больше не поднимала этого вопроса. Она меня не поняла. Ей хотѣлось жить, еще много учиться, стать хорошей скрипачкой, выйти замуж за хорошаго музыканта. И видѣла она перед собой только свою добрую, счастливую, мирную дорогу впереди.

А между тѣм мое внутреннее безпокойство росло. Как будто рядом с обычной, занятой, радостной, молодой жизнью шла совсѣм иная. Внезапно, в гимназіи, во время уроков, дома, в театрѣ, на улицѣ, за книгой, среди подруг, ночами в постели, — я вздрагивала от еще неясных, но тревожных мыслей... Міp на самом дѣлѣ был и таким, и не таким, как мы его видѣли... Чтобы жить спокойнѣе, можно было постараться не думать... хотя бы какое-то недолгое время... А если задумаешься, да еще погрузишься, «опрокинешься» внутрь себя, — придется идти до конца в этом познаніи «иного міра» в себѣ самой и вокруг...

Я стала тайком от всѣх внутренно метаться и тосковать... Знакомый студент - филогогъ, Сеня Юдин, дал мнѣ как-то прочесть «Исповѣдь» Толстого... Метанія вѣры попали на благопріятную почву недовѣрія к наступившей в мірѣ жизни...

Я занемогла смятеніем души надолго.

XXXIII

ЛАЗАРЕТЫ

Наступила весна. Вкрадчивая, медлительная, свѣжая сѣверная весна. На улицах продавцы в знакомой послѣдовательности смѣняли подснѣжники на фіалки, фіалки на гіацинты и на первую крутоватую, упругую сирень.

Шли дни Великаго поста. В театры нас уже не пускали. За то цѣлыми группами водили послѣ уроков в лазареты. Мы уже с привычным вниманіем подходили к кроватям, покрытым темносѣрыми одѣялами, говорили с ранеными. Раздавали рубахи, кисеты, книги, табак, почтовыя марки, бумагу. Солдаты встрѣчали нас по-разному: добродушно и весело, как гостей; смущенно и даже испуганно, как благодѣтельниц, — а иногда развязно и нѣсколько пренебрежительно, как «блажившихъ» господских дѣтей. Но чаще всего, — с любопытством. В офицерскія палаты нас не пускали вовсе. У солдат можно было посидѣть, распросить про раненія, о которых они говорили с охотой, подробно, словно всякій раз переживая их вновь, но уже не страдальчески, а восторженно-героически.

— Как хватит шрапнелью! Один осколок в ребро, другой — в зад, третій — в большой палец на энтой ногѣ! — говорил иногда такой словоохотливый новичок-герой и, к ужасу со-

провождавшей нас Вѣры Николаевны, рѣшительным жестом сдергивал с ног одѣяло, чтобы показать перевязанныя мѣста.

Но, повторяю, это случалось только с новичками. Пролежав же нѣсколько недѣль и привыкнув к посѣтительницам из гимназій, солдаты уже мѣняли простоту на «городское обращеніе» и в выраженіях и в жестах.

Обрубки рук и ног, раздробленныя скулы, страшныя желтовато-восковыя лица, безжизненные, худые или одутловатые синіе пальцы, тяжелый храп, громкая, вскрикивающая икота — все это вмѣстѣ с запахом іодоформа, карболки и пота долго мучило мое сознаніе послѣ таких посѣщеній... И все чаще нарастал в душѣ ропот: зачѣм, за что? За что смерть, муки, лишенья и по ту и по эту сторону фронта!? Если признать это только безсмыслицей и жестокостью, можно сойти с ума, видя страшныя жертвы, которыми за эту безсмыслицу расплачиваются...

Однако, вѣдь, ни я, ни мои добрые друзья, ни подруги, с ума от этого не сходим!... Значит, может и должно же существовать какое то внутреннее оправданіе этим страданіям, которых разум, может быть, и не понимает и не принимает, но и... не рушится из-за них, как от явной катастрофы! Значит, какому-то Высшему закону оправданія эти муки, эти жертвы все же внутренно подчиняются? Но гдѣ и

в чем он? Вѣдь не может же быть, чтобы я одна додумалась до абсурдности и жестокости страданій? Мои разсужденія, конечно, приходили в голову и другим... И все-таки тысячи лѣт существовали войны и смерть, и раненія, и осиротѣвшія семьи! Не могла же ошибаться и Церковь, молясь за Христолюбивое воинство, а не осуждая его... А святой Сергій Радонежскій, благословившій на битву?!

XXXIV

СМЯТЕННЫЯ МЫСЛИ

Церковь, Церковь! Как трудна она становилась временами для моего сознанія! Опять я хваталась за «Исповѣдь» Толстого и чувствовала, что шла мысленно за ним шаг за шагом, и вдруг... в тот момент, когда он мог что-то понять, раскрыть и принять, — он дѣлал какой-то огромный скачок непримиримости и личной строптивой догадки в сторону, — а я, ошеломленная, раздосадованная, оставалась растерянно смотрѣть ему вслѣд... Прыжок за ним был бы явной ошибкой для моей робкой, но все же чуявшей гдѣ-то в ином мѣстѣ правду, души... А как самой пробраться к этому «иному мѣсту», в котором только и можно было искать и найти, — я не знала. Славный, простенькій студент Юдин был, конечно, очень убѣжден-

ным «толстовцем» и увѣрял меня, что истина им найдена... Но излишняя горячность в его доводах, излишняя суровость критики всего существующаго порядка жизни — были уже тогда подозрительны мнѣ.

— Вы сами мечетесь, ничего не знаете и врете себѣ самому, — сказала я ему как-то на вечеринкѣ у Ады рѣшительно. — И глаза у вас потому бѣгают, когда вы на высокія темы говорите... Я так не могу.

Он достал из внутренняго кармана своей студенческой тужурки открытку и подал мнѣ.

— Вам в подарок... Послѣ смерти Толстого были отпечатаны. Вы тогда еще под стол пѣшком ходили. В продажѣ этих открыток, конечно, нѣт.

Я приняла подарок. На открыткѣ был изображен старичок Толстой, согбенный, уставшій, измученный вьюгой, склоняющійся перед Христом — идущим к нему навстрѣчу с простертыми руками, чтобы обнять его.

Дома я заложила открытку в томик Толстого, но никакого восторженнаго, умиленнаго чувства она у меня не вызвала... Часто доставала я ее из книги, разсматривала. Мнѣ было жаль, безконечно жаль изнуреннаго, ищущаго в вьюжном полѣ пути старика с умным и благородным лицом. Все же остальное содержаніе открытки было для меня так же неубѣдительно, как горячность споров и бѣгающіе глаза

студента...

Подходила Страстная недѣля — долгожданная, волнующая, умилительная во всѣ предыдущіе годы для нас... но было тупо и сумрачно в моей наглухо закрытой от близких, от мамы, от подруг, душѣ... Я пошла к исповѣди и к причастію по-дѣловому серьезно и все же почти безразлично.

Смятенныя мысли, невеселыя впечатлѣнія от взволнованнаго и тоже смятеннаго міра, исканія каких-то оправданій всему происходящему, первые грозные признаки шатанья в вѣрѣ — все это стало уже привычным содержаніем моей души в пору «проклятых вопросов».

На рабочем столѣ моей общей с Тамаринькой комнатки театральная литература смѣнилась... философской. Мало я в ней понимала. Иногда цѣлыя страницы оставляли меня въ полном недоумѣніи перед прочитанным. Дѣло было, конечно, не в интересѣ к философіи, а в том особенном состояніи моей души, которому в то время была созвучнѣе метафизика, чѣм литература и поэзія.

XXXV

ПАТРІОТИЧЕСКАЯ ПАСХА

Пасху встрѣтили мы в тот год совсѣм необычно. Послѣ заутрени, которая кончалась у

нас к девяти часам вечера, мы не поѣхали разговляться домой. В квартирѣ священника в церковном домѣ были накрыты пасхальные столы для раненых солдат-армян. Мы остались прислуживать им.

Слишком нарядной и богатой для гостей в сѣрых грубых шинелях была и посуда, принесенная из домов богатых прихожан, и все убранство столов. Нѣсколько дам-благотворительниц распоряжались добровольными лакеями и горничными: двумя юношами - правовѣдами, сыновьями генерала Ш., тремя гимназистами и цѣлой дюжиной молоденьких гимназисток из благовоспитанных семей. Мы разносили гостям дымящійся чохохбили, пилав с золотой поджаристой корочкой, разливали по стаканам кизлярское и астраханское вино. На столах грудами лежали на подносах крашеныя яйца, стояли башенки куличей, пасхи, украшенныя марципанами. Послѣ розговѣнья роздали солдатам каждому по огромному мѣшку с бѣльем, с гостинцами, с табаком и по конвертику с деньгами. Эту широту и размах кавказскаго радушья я хорошо знала по бабушкиному дому и по жизни на Минеральных Водах. Да и какія богатства стояли за спинами армян-благотворителей, нефтяников или винодѣлов, у которых дѣти уже не готовились быть ни предпринимателями, ни купцами, а числились в петербургской золотой молодежи. Обрусѣла эта моло-

дежь не меньше нас. Но все-таки всѣ мы ощущали свою природную близость с застѣнчивыми, бритоголовыми, смуглыми солдатами из закавказских захолустій и увѣренно распѣвали с ними хором Зейтунскій марш или «Мер Хайреник».

Двѣ огромныя неуклюжія кареты дожидались у ворот церкви. Было уже поздно. Старшіе распорядились отсылать нас по очереди домой, а сами остались прибрать за гостями и развезти их по лазаретам.

XXXVI

ЮРИК

Меня посадили в карету с двумя маленькими дочками генерала Ш., проспавшими весь вечер в квартирѣ священника, и со старшим сыном генерала — правовѣдом Юриком.

Жизнерадостный, общительный, хотя и очень избалованный, восемнадцатилѣтній Юрик славился (на удивленье всѣм армянам!) своей свѣтлорусой шевелюрой, которой он очень гордился и за которой с необыкновенной заботливостью ухаживал.

Над ним подтрунивали. Он не только не обижался, но сам помогал подсмѣиваться над собой, сообщая всякія смѣшныя подробности о своем кокетствѣ. И было в этом что-то очень

далекое от самоуничиженія или легкомыслія, потому что дѣлал он это весело и просто, от души, но все же с большим достоинством. Дѣтвора его любила и слушалась больше, чѣм родителей, и он как-то своеобразно командовал ею, но и оберегал, как насѣдка. Вот и на этот раз сестренок поручили ему...

Мы ѣхали медленно, в развалку, в тяжелой, мягкой и, казалось, не движущейся вперед каретѣ.

Улицы в бѣлесоватом сумракѣ петербургскаго теплаго весенняго вечера были почти пустынны. Но окна домов были ярко освѣщены: вездѣ готовились к празднику, который должен был наступить через два-три часа. Впрочем, в скверах, около церквей, тоже празднично и парадно освѣщенных, уже начинал понемногу собираться народ: в особенно торжественной тишинѣ и в благоговѣніи перед тѣм, что должно было скоро свершиться.

— Вы пойдете к заутренѣ? — спросил меня Юрик.

— Как это к заутренѣ? Вѣд мы только что из церкви.

— Нѣт, я говорю о православной заутренѣ. Мы с папой ходим в Казанскій собор... И сегодня пойдем. А потом к утру вернемся разговляться.

— Нѣт, мы не пойдем... Никто из нас к

православной заутренѣ не ходит. Только Настю отпускаем.

— Ну, у нас, в армянской церкви, что за заутреня... — легкомысленно и весело отвѣтил Юрик. — Вот в соборѣ, как стиснут, подна-давят, едва дышишь! И стоишь чуть ли не пять часов подряд, не шевелясь! Впрочем, к обѣднѣ многіе расходятся, легче становится. А поют как! Как поют! Люблю русскія церкви! Хотите, поѣдем с нами. Я отвезу малышей домой, а потом с отцом заѣдем за вами к одиннадцати часам?

— Мама не пустит, скажет, утомительно, да и не к чему два раза подряд праздник встрѣчать. Сейчас, как всѣ вернутся домой, разговляться будем.

— Да, вѣдь, правда. Вы тоже еще не разговлялись, только прислуживали. Ну, а мы с отцом до утра потерпим.

— Посмотрите, мы здѣсь почти рядом с Удѣлами жили, — сказала я и высунулась в окно... — Вон, вон, наши окна... Тоже освѣщены. Не знаю, кто там теперь живет... Как странно, там в комнаткѣ, гдѣ мы с Нешей спали, — теперь чей-то кабинет. Видите верхушки шкафов с книгами?

Вы, кажется, сантиментальный человѣчек, — сказал Юрик неожиданно таким покровительственным тоном, как будто я была в возрастѣ его сестренок, мирно посапывавших ря-

дом со мной на широком заднем сидѣніи.

— Это из чего же видно? — обидѣлась я.

Но Юрик как будто не замѣтил моего тона. Сидя против меня, спиной к кучеру, он придвинулся к боковому фонарику, наклонился, сощурился, стараясь разглядѣть время на плоских золотых часах, которые достал из-под мундира. Потом недовѣрчиво приложил их к уху и опять опустил в карман на груди.

— Отстают, — пробормотал он, не глядя на меня и как будто меня не замѣчая. — Да, так вы спрашиваете, из чего это видно?

И, кажется, чтобы окончательно убить меня своей «взрослостью», многозначительно и довольно неожиданно для меня произнес:

— Я часто смотрю на вас в церкви или гдѣ-нибудь при наших рѣдких встрѣчах в гостях... и поражаюсь, почему у вас бывают иногда такіе экстатическіе глаза. Мы даже с отцом говорили... Вѣдь вы знаете, отец для меня первый товарищ. С ним обо всем можно. А отец говорит: «из этой дѣвочки нужно сдѣлать артистку»... И собирается даже с вашей мамой поговорить всерьез.

— Мама сама хочет учить меня пѣнью... А я хочу послѣ гимназіи идти на драматическіе курсы, — довѣрчиво сдалась я на его новый тон.

— Послушайте, послушайте меня, — горячо заговорил Юрик и рѣшительным движеніем взял мои руки к себѣ на колѣни. — Довѣрьте

артистическія дѣла моему батькѣ. Он — вѣдь не простой генерал, а театральный; бредит раскапываньем молодых талантов, субсидированіем молодых карьер!... Скучно ему в отставкѣ. Деньги есть... театральный пыл есть, — а собственныя дѣти — безталанные... — засмѣялся Юрик. — Впрочем, молчите, пока молчите; я сам предварительно все устрою. А мамѣ вашей, простите, я не вѣрю. Анна Петровна — достойнѣйшій человѣк, но сдѣлает из вас... «синій чулок», пошлет куда-нибудь на факультет, заставит зубрить, благонравно себя вести и, главное, слушаться до старости лѣт.

Тут мы оба дружно расхохотались.

Карета остановилась на Кирочной, у ворот нашего дома.

— Здѣсь подождете... — по-барски скомандовал кучеру Юрик и помог мнѣ выскочить из кареты. Ловко растворил он передо мной тяжелую желѣзную дверь незапертых, несмотря на поздній час, ворот. Потом, почтительно наклонившись, прошел мимо меня вперед к подъѣзду во дворѣ. И там, с таким же услужливым достоинством распахнул и придержал двери, давая мнѣ пройти. Как будто бы я уже была знаменитой драматической артисткой Александринскаго театра, а он благодарным и скромным поклонником из толпы...

И как бы отвѣчая на этот тон, я — к моему собственному удивленью — побѣжала вверх

по лѣстницѣ, придерживая концами пальцев юбку своего новенькаго гимназическаго платья... как будто на мнѣ был по крайней мѣрѣ атласный кринолин.

На площадкѣ лѣстницы я, тоже нѣсколько по-театральному, остановилась и кивнула ему.

— Вы даже не простились со мной, — вдруг искренно и капризно сказал Юрик, держась за перила и смотря на меня снизу.

Я уже позвонила. Послышались шаги Насти.

— Ну, да ничего, до скораго свиданія, — заторопился Юрик. — Пріѣдем с отцом поздравлять вас. Может быть, завтра в полдень. А про наш секрет — пока ни слова. Только генерала посвятим...

XXXVII

ОТ ШОПЕНГАУЭРА К ПРОФЕССОРУ-ПСИХІАТРУ

Сразу послѣ Пасхи наступила пора экзаменов: для меня — переходных, для Тамариньки — выпускных. Мама запретила куда-либо ходить, кого-либо к нам приглашать, отвлекаться чѣм-либо до окончанія экзаменов. Из дома генерала Ш. были дважды попытки пригласить нас въ воскресенье потанцовать. Онѣ оказались тщетными.

Радость жизни, бездумной, простой, какая была у Юрика, у Тамариньки и у подруг, — та радость, которую я так остро ощутила, возвращаясь домой в памятный вечер Пасхи, и сохраняла еще много праздничных дней — стала снова перебиваться навязчивыми мыслями и какими-то внезапными психическими туманами...

— Если мір — только мое представленіе о нем, — говорила я себѣ, сидя в подушках послѣ безсонной ночи, — то значит и окружающіе меня люди — тоже только мое представленіе о них... И, может быть, я одинока, обреченно одинока в мірѣ явленій, созданных только моим собственным уродливым воображеніем.

Разсуждая так, я безпомощно плакала от ужаса, который теперь уже прочно поселился гдѣ-то под ложечкой, разливая оттуда холод и изнеможеніе по всему моему болѣзненному и худенькому тѣлу.

Просыпалась Тамаринька. Торопливо вскакивала, весело спрашивала: который час, не пора ли вставать, идти на экзамен? Или можно еще «подзубрить» кое-что в постели? Иногда перебрасывала мнѣ программу и книги, чтобы я ее провѣрила на свѣжую память. Я спохватывалась, отгоняла свои невеселыя мысли, нарочно ставила ей предательскіе вопросы по конспекту, смѣшила ее, хохотала сама.

Когда Тамаринька бѣжала умываться, я до-

ставала изъ-под подушки свою программу, пробѣгала ее глазами. Экзамены меня не пугали и даже не волновали. Программу я всегда знала на зубок, и с начала, и с конца, и въ разбивку. Ни за один экзамен не получала меньше высшаго балла, хотя в году и не шла первой ученицей, а только числилась в первой «пятеркѣ» учениц.

Но и экзамены проходили для меня в тот год без всякой радости за их успѣх.

Мнѣ нужен был чей-то безоговорочный непререкаемый авторитет, чтобы смочь наладить мое душевное и умственное хозяйство. А гдѣ его искать — я не знала. Себѣ же самой я уже давно не довѣряла, и ничего от себя не ждала.

Наступило лѣто. Начались сборы на Кавказ. Мама, увидя, что со мной творится что-то неладное, купила мнѣ новыя тенисныя ракетки, наперед позволила ѣздить лѣтом верхом, чтобы развлечь, или, вѣрнѣе, отвлечь меня от душевнаго недуга.

Я крѣпилась. И вдруг перед самым отъѣздом пришла к мамѣ ночью в спальню и попросила повезти меня к психіатру... пока я еще не окончательно захирѣла. Мама, испуганная и озадаченная, все же исполнила мою просьбу.

Проф. О..., к которому меня отвезла мама, проговорив со мной болѣе часа, нашел меня совсѣм здоровой, но запретил на нѣсколько мѣсяцев книги, ученье и «умные разговоры».

Он велѣл отдать предпочтеніе спорту, танцам, пикникам... А главное, накопленію физическаго здоровья.

Так «прозаически» расцѣнил извѣстный профессор-психіатр мои муки над «проклятыми вопросами».

XXXVIII

В КИСЛОВОДСКѢ

— У меня выход один — не погружаться внутрь себя, а развлекать себя извнѣ, —внушала я себѣ ежедневно в Кисловодскѣ, довольно неблагодарно и легко принимая от мамы всѣ удовольствія и подарки, которыми она старалась занять меня. Другим сестрам дѣлалось меньше: онѣ и без того были веселы, здоровы и спокойны.

Мама же, в постоянной, напряженной заботѣ о нас, взяла на себя новый труд: открыла в Кисловодскѣ пансіон-санаторій. Нам это давало возможность набраться за лѣто сил на чудесном горном курортѣ, слушать ежедневно приличный симфоническій оркестр, повидать в экскурсіях красоту природы, имѣть дома хорошія комнаты, отличный стол, пить в паркѣ, не стѣсняясь расходами, кумыс, кефир, сливки, принимать нарзанныя и желѣзистыя ванны — словом, провести три лѣтних мѣсяца в том

комфортѣ, в лѣченіи, в веселіи, которые мы с нашими скудными средствами, конечно, не могли бы имѣть без трудной и отвѣтственной работы мамы. Вставала она в четыре часа утра и уѣзжала с грузином-поваром на базар; потом распоряжалась на кухнѣ; а к восьми часам утра, приняв ванну, завитая, подтянутая, одѣтая в свѣтлое платье, мама уже встрѣчала своих гостей-пансіонеров на стеклянной верандѣ.

Сидя на предсѣдательском мѣстѣ стола, украшеннаго возлѣ каждаго прибора цвѣтами, она естественно, непринужденно принимала свой обычный ласково-холодноватый и свѣтскій вид. И такой оставалась до вечера.

А вечером, в комнатѣ, в которой я поселилась с ней, — она, вздрагивая от внезапных колик в сердцѣ, медленно и устало раздѣвалась, с трудом натягивала на плечи батистовый халат и опускалась в низкое, соломенное кресло с движеньями уже пожилой и очень нездоровой женщины.

Я вставала на колѣни и осторожно снимала с ея ног туфли на каблуках. Мама закрывала глаза и долго неподвижно сидѣла в креслѣ, вытянув перед собой больныя ноги.

В один жаркій полдень мама неожиданно для гостей и для нас поднялась из-за обѣденнаго стола, отдала горничным распоряженія и прошла в свою комнату. Мнѣ захотѣлось сейчас же побѣжать за ней, но мама этого не одо-

брила бы! Пришлось сохранить приличіе на нѣсколько минут. Потом я незамѣтно выскользнула и опрометью бросилась наверх. Мама лежала на постели с закрытыми глазами. Когда я вошла, она приподнялась на подушках и даже улыбнулась мнѣ.

— Ты что, Чиж?

— Тебѣ плохо?

— Нѣт, теперь уже лучше.

Я присѣла на кровать и вдруг увидѣла, что по лицу ея, под смугловатой припудренной кожей, бѣжала от виска к шеѣ красная жилка — как струйка крови.

Я так и замерла.

— Ничего, ... успокоила меня мама, взяла со стола зеркало, внимательно разглядѣла ее. — Ничего. У меня часто на тѣлѣ сосуды лопаются. Ты не волнуйся, иди вниз. Кончаете обѣдать? Понравились гостям пожарскія котлеты? Соус удачный? Всѣ с удовольствіем кушали? — заговорила мама со своей обычной дѣловитостью.

Я молчала. Мама взяла меня за руку.

— Не бойся, я еще не скоро умру. Мнѣ нельзя умереть. Понимаешь? Я так и докторам говорю: ни за что не умру, пока дѣтей на ноги не поставлю! Да мнѣ и некогда умереть.

Мы обѣ засмѣялись.

— Мама, ты в Бога дѣйствительно вѣришь? — неожиданно подкопалась я к боль-

тому вопросу.

—Вѣрю.

— До конца?

— Да.

— Как вѣришь? Как Церковь велит? И тебя ничто не смущает, не вызывает сомнѣній?

— Дѣвочка, мнѣ некогда, — опять засмѣялась мама. — Некогда ковыряться! Надо работать для вас... Я учила в дѣтствѣ, как и ты: «Вѣрую во Единаго Бога Отца». Этим все опредѣлено. Как Церковь велит, — так и жила. А в праведницы я или в грѣшницы попаду, — не знаю, и не думаю об этом! В церкви хорошо. Хочу, чтобы вы и послѣ моей смерти в церковь ходили, молились, пріобщались... Больше ни о чем не задумываюсь, некогда. А у тебя что-то здѣсь сидит. — Мама постучала меня пальцами по головѣ: — что-то сидит — лишнее... Не знаю, как тебѣ помочь! И что в тебѣ сидит — не знаю. Папина дочка! Учись жить у Тамуси... легче будет.

— Ей некогда, некогда из любви к нам, — подумала я.

Мама опять похлопала мою голову слабыми пальцами.

— Иди вниз. Если кто-нибудь спросит про меня, скажи, что мнѣ хорошо, к пятичасовому чаю я спущусь.

Я нехотя поплелась к дверям.

— Вечером, когда пойдешь в парк, надѣнь

новое тафтовое платьице. Без зонта не выходи, пока солнце не смирится.

Конечно, тафтовым клѣтчатым платьицем я никого не могла удивить на том парадѣ элегантности и вкуса, в который превращались музыкальная площадка и главная аллея Кисловодскаго парка к пяти часам! Это никому незамѣтное платьице было дѣтским утѣшенiем мнѣ самой. А кругом было на что поглядѣть и чѣм насладиться! Какой рѣдкой красоты и выхоленности молодыя женщины с небрежным и царственным видом проходили мимо таких же щегольски одѣтых красавиц, как онѣ! Какой аромат дорогих заграничных духов мѣшался на аллеѣ с запахом роз, гвоздик, левкоев, продававшихся тут же, на лоткѣ, по-сорочьи стрекочущими мальчуганами.

Только послѣ окончанiя концерта, когда публика уже расходилась, жизнь в паркѣ принадлежала нам, молодежи. Веселыми, оживленными кучками собирались мы под тополями, наскоро обсуждали, куда бы пробѣжать еще до ужина, полюбоваться красноватым мирным закатом над бѣлѣющими в степи дорогами. Время терять было нельзя: приближались сумерки. Быстро обѣгали мы любимые уголки на окраинах парка и так же поспѣшно возвращались домой, чтобы не опоздать к ужину; у нас в пансiонѣ он бывал всегда и очень праздничный, и многолюдный, веселый. Послѣ ужина для стар-

ших начиналась уже запретная для нас жизнь: балы, концерты в курзалѣ, театр, прогулки, катанье по городу, а дома — лото, преферанс на верандѣ или в саду.

Тамаринька и я подымались наверх, в спальни, просиживали с полчаса у раскрытых окон, выходящих на внутренній двор и абрикосовый садик...

Сюда почти не доносились голоса, здѣсь было почти темно, так как освѣщался он только одним фонарем... За то звѣзды здѣсь казались особенно яркими и близкими к нам. Громко говорить не хотѣлось. Дѣлать лишних движеній — тоже. Обыкновенно мы просиживали здѣсь в полумракѣ, в полумолчаніи... А когда заговаривали друг с другом, — голоса были музыкальнѣе и мечтательнѣе, чѣм днем.

— Ну, Чиж, спать, — напоминала, наконец, Тамаринька, и первая соскакивала с подоконника. Я нехотя повиновалась ей...

* * *

Хороши были прогулки верхом через зыбкія хлѣбныя поля, через степи, в лиловатыя, покрытыя хвойными лѣсами, горы. Ѣздили мы цѣлой кавалькадой на дико озирающихся, горячих на вид, а на самом дѣлѣ очень спокойных и хорошо объѣзженных лошадях. У меня был ласковый и грустный иноходец — самая

безопасная и послушная лошадь из всей конюшни татарина Бек-Назара. Выбор сдѣлала мама, а я не воспротивилась ему —так прекрасен и граціозен был темнорыжій, лоснящійся Машук с умными, задумчивыми, неподвижными глазами. Он слегка баюкал на рыси. Шел, равномѣрно потряхивая то в одну, то в другую сторону головой и заботливо расчесанной, свѣтлой гривой на упругой шеѣ. Мнѣ сшили черную суконную амазонку, купили желтый картуз с козырьком. В послѣобѣденные часы сухой жары я томилась в этой тѣсно перетянутой в таліи амазонкѣ, в высоких, кожаных офицерских сапогах. Но ни за что не согласилась бы нарушать свой «верховой» видъ... Словно и поступь Машука и моя осанка от этого многое потеряли бы!

Ошеломляющими по богатству и разнообразію красок были засѣянныя хлѣбами полосы земли по обѣим сторонам бѣлаго от зноя шоссе. Остановив лошадей на каком-нибудь пригоркѣ, мы часто любовались ровными, раздѣленными яркими, сочными межами, отрѣзами засѣянных полей... Потом выѣзжали уже в нетронутыя степи у самых подножій гор. Прекрасны были и эти степи, с их взлохмаченной, покосившейся от вѣтров, серебристо-сѣдой травой, пестро расцвѣченной васильками и маками. Лѣса и горы я любила меньше, а потому самыя цѣли наших поѣздок, с их поэтической, воспѣ-

той красотой оставляли меня обычно болѣе равнодушной, чѣм степная дорога к ним.

Мы поѣхали как-то, в безсолнечно-жаркій и суховато-вѣтреный полдень, в Замок Коварства и Любви; побродили в его каменных громадах и посидѣли за обѣдом на площадкѣ горнаго ресторанчика нѣсколько часов. И вдруг были захвачены врасплох таким свѣжим, гулким, порывистым вѣтром, что вскочили с мѣст, придерживая на столах скатерти, салфетки, подхватывая на лету шляпы, сумки, шарфы, взметнувшіеся разом со всѣх столов и стульев!

Небо стало угрожающе темнѣть. Надо было спѣшить домой.

В степи, в испуганно-восторженном молчаніи, мы любовались, как в наступившей темнотѣ разрѣзали небо огненные зигзаги молній. А этими разрѣзами как бы вспарывались тучи, обнажая исполинскія золотистыя горы на небѣ, в тысячу раз прекраснѣе тѣх, что предостерегающе гудѣли, сотрясались вокруг нас... Дождя не было. Но было холодно и темно в степи. Суховато-пряный, миндальный аромат трав стал от этой прохлады еще сильнѣе и душистѣе, чѣм от зноя.

Лошади шли медленно, неувѣренно, фыркая и настороженно похрапывая.

И только когда из низко нависших туч обрушился косой, неистовый дождь, лошади

рванулись и галопом помчались по дорогѣ. Дорога стала тоже замѣтнѣе и увѣреннѣе для глаз под начавшим медленно проясняться и свѣтлѣть небом.

К ужину мы были дома; веселые, измученные и чуть опьяненные красотой степной грозы.

XXXIX

ПОСЛѢДНЕЕ СВИДАНЬЕ

К концу лѣта неожиданно прiѣхал из Баку отец.

Возвращаясь домой с теннисной площадки, я увидѣла на верхнем балконѣ нашего дома фигуру пожилого, немного сутулаго господина в чесунчовом пиджакѣ. — Новый пансiонер! — подумала я.

С балкона раздалось сухое, отрывистое покашливанье, шелест газеты... Что-то сорвалось у меня в груди, покатилось к ногам, которыя стали вдруг размягченными, невѣрными, дрожащими... Толкая калитку, безпомощно нащупывая тоже невѣрной рукой деревянную вертушку, я закричала:

— Папа!

Человѣк на балконѣ быстро повернулся ко мнѣ и, прикрыв газетой глаза от слѣпящаго солнца, наклонился через перила. Бѣгом бро-

силась я через садик к подъѣзду, с шумом распахнула двери и понеслась через двѣ-три ступеньки наверх по лѣстницѣ. У дверей комнаты с завѣтным балконом попалась навстрѣчу Лизанька. Я чуть не сшибла ее с пути, только махнула рукой и вбѣжала на балкон. Папа обнял меня.

Мы помолчали минутку, потом он отвел мою голову с своего плеча и удивленно, недоумѣвающе, даже как будто и не обрадованно посмотрѣл на меня.

— Ты больше всѣх измѣнилась за эти годы, — сказал он мнѣ.

Я стояла против него и смотрѣла на него, вѣроятно, я неменьшим удивленіем. Было что-то знакомое, безконечно дорогое и что-то уже почти чужое в его глазах. Была та же прежняя ласковость, доброта — и вмѣстѣ с тѣм какое-то безразличіе... Он осторожно, как больной, сѣл в полотняное кресло. Я против него — на перила.

— Тебѣ не вредно в такую жару в теннис играть? — спросил он.

— Нѣт, ничего. Сейчас вѣдь не полдень. Уже пять часов скоро.

Папа достал из жилетнаго кармана черные часы с надписью «Павел Бурэ».

— Да, без двадцати пять. Я, вѣдь, сам жары не боюсь. Видишь, даже картуз на голову не надѣваю под таким солнцем.

— Ты с каким поѣздом прiѣхал?

— С трехчасовым.

— Почему не телеграфировал о днѣ и часѣ? Здѣсь тебя никто не встрѣтил?

— Никто. Это ничего. Я взял феэтон и прiѣхал прямо к вам — найти нетрудно.

Папа взял газету и стал ее тщательно и аккуратно складывать, словно готовился отсылать назад на почту. Помолчали оба.

— Да! Который сейчас час? — неожиданно спросил он сам себя и опять полѣз в боковой карман.

— Ты же только что смотрѣл, без двадцати пять, — сказала я.

— Развѣ? Нѣт, вѣрно, еще четырех нѣт, — сказал он совершенно серьезно. И я почувствовала, что холодѣю от этой несуразности, которую надо было как-то спокойно принять.

Внизу раздалось нѣсколько раздѣльных, долго не смолкающих своим гулом ударов.

— Это что такое? — спросил растерянно и почти испуганно отец.

— Гонг к чаю.

— Ах, к чаю. Я очень хочу пить. С удовольствiем выпью. Особенно с лимоном, — обрадовался отец, встал и низко свѣсился через перила над густыми кустами орѣшника.

Потом показал мнѣ на мотыльков, почти безцвѣтных и легких, как пушинки. Столбом вились они над горячей травой.

— Вижу. Мотыльки, — сказала я ему с притворной веселостью. — А тебѣ они нравятся?

— У нас на промыслѣ только гарь и пыль летает, — засмѣялся отец.

— Тебѣ здѣсь нравится? — опять спросила я его, как маленькаго ребенка.

— Ничего. Все равно, Ничего, — безразлично отвѣтил отец.

— Пойдем, спустимся к чаю, — едва сдерживая слезы, сказала я и взяла его под руку.— Пиджак надо будет перемѣнить. Гдѣ у тебя другой?

— Не знаю. Навѣрное, в чемоданѣ.

Папа послушно пошел со мной в комнату.

Вошла горничная и принесла на плечиках новенькій, тщательно выглаженный чесунчовый пиджак.

— Ах да! Вѣдь вот он! Дѣвушка, вѣроятно, брала у меня гладить, — спохватился отец.

Мы с горничной переглянулись, как заговорщицы, и обѣ опустили глаза.

Я помогла ему переодѣться, и он послушно пошел за горничной вниз.

Оставшись одна, я легла ничком на диван и нѣсколько минут пролежала в каком-то странном устало-бездумном состояніи.

Потом вымыла холодной водой лицо и руки, оправила волосы, платье, и тоже спустилась на веранду к чаю.

Там пансіонеры были уже в сборѣ. Стоял

веселый говор, звенѣли чашки, два огромных серебряных самовара попыхивали в буфетной комнатѣ рядом с верандой.

Мама, нарядная, оживленная, что-то разсказывала на одном концѣ стола. Дамы смѣялись.

А на дальнем концѣ стола виднѣлась красивая, полусѣдая голова и худенькія плечи отца, который, ни на кого не глядя и даже как будто никого не замѣчая, обжигаясь и дуя, как ребенок, в блюдечко, пил из него свой любимый чай с лимоном. А вмѣстѣ с тѣм и нѣсколько смущенная оживленность матери, и веселость гостей были связаны с его присутствіем — это было очевидно. Гостям было неудобно разглядывать его, как им это хотѣлось. Они притворно-оживленно говорили, чтобы отвлечь тѣм вниманіе окружающих — и свое собственное — от необыкновеннаго по виду, необыкновеннаго по своей судьбѣ новаго человѣка. И мама это видѣла и понимала, как понимали и мы.

Но что было утѣшительно во всей окружающей обстановкѣ — это та явная симпатія, которую отец сразу же возбудил к себѣ и в пансіонерах и в прислугѣ в первый же день своего пріѣзда, как всегда возбуждал и прежде, еще будучи здоровым, несмотря на страсть, приведшую его к катастрофѣ.

Выпив чай, он встал, издали поблагодарил маму и прошел в салон к роялю, как будто

был совсѣм один во всем домѣ.

Понемногу на верандѣ всѣ утихли.

Отец играл попрежнему, без нот, почти не глядя на клавиши, попурри из ему одному извѣстных мелодій... Внезапно переходил на какія-то фуги, с гармоничным чередованіем голосов, на элегіи, потом опять на лирическіе, изящные мазурки и вальсы. Никто с веранды ни разу не прошел через салон, чтобы не мѣшать ему. Зато у дверей салона стояли цѣлыя группы и теперь уже без всякаго смущенія откровенно разглядывали его. Да и чего было смущаться! Всѣ были растроганы и очарованы добродушным, на рѣдкость симпатичным, тихим человѣком, надѣленным к тому же огромным музыкальным талантом и рѣдкой красоты лицом.

Двѣ недѣли, которыя провел он с нами, прошли в общем любованіи отцом, совершенно не замѣчавшим своего необыкновеннаго успѣха. Он то и дѣло рисовал пером кому-нибудь на память миніатюры, развлекал по вечерам гостей игрой на віолончели, или импровизаціями на рояли. По утрам, с идеальной точностью и аккуратностью вел мамины «счета», никогда ни одной мелочи не пропуская. Но тут же, через час послѣ обѣда звонил прислугѣ и спрашивал: почему сегодня опаздывают на кухнѣ с обѣдом? За столом, по просьбѣ гостей экспромтом сочинял на любую тему стихи. Странно лились они у него: словно не вызывали ника-

кого напряженія мысли! Но были вмѣстѣ с тѣм толковы, музыкальны, а иногда даже закончены по формѣ.

А послѣ двух недѣль своего пребыванія у нас, он довольно безразлично, за руку, простился с нами, как и с гостями. Сложил свои вещи и сказал, что его отпуск кончен и он должен ѣхать назад, в Балаханы. Мама попросила его благословить нас. Тогда он горячо и, ласково поцѣловал нас, перекрестил. Почти весь пансіон провожал его на вокзал. Он не захотѣл ѣхать вторым классом, а попросил маму взять ему билет третьяго класса. На вокзалѣ была из-за этого нѣкоторая неловкость: выходило так, словно мама его в черном тѣлѣ держит! Но мама и виду не показала, что это ей непріятно. Он же весело сѣл в вагон с мужиками, с торговцами, с бабами, нагруженными тюками и корзинками, и сразу же почувствовал себя там, как дома. Сопливыя грязныя дѣти окружили его, как окружали всегда, в скверах, во дворах и у церкви. С ними он был совсѣм счастлив. Словно, несмотря на свою талантливость и на свою образованность, он только с ними и был до конца на равной ногѣ! Так и уѣхал он, почти не глядя на провожавших его элегантных гостей. А мы, дѣти и мама, потупясь шли с вокзала домой, слушая восторженно-сочувственныя рѣчи о полюбившемся всѣм добром чудакѣ.

Таким было послѣднее на землѣ наше свиданіе с отцом...

* * *

По возвращеніи в Петербург я поняла, что катастрофа, которую в смятеніи и в страхѣ предчувствовала моя душа два послѣдних года, уже неизбѣжна. И странно, сознанье неизбѣжности принесло успокоеніе. Уже не о чем было думать, нечего было стремиться угадать. Нечего было искать эту катастрофу в себѣ, в тяжелых психических состояніях, которыя время от времени «накатывали» на меня, пугая, обезсиливая, лишая меня покоя. Она теперь явно надвигалась извнѣ: а я только болѣзненно отвѣчала ей моей впечатлительной нервной натурой. В чем должна была эта катастрофа проявиться? В проигранной в будущем войнѣ? В каком-нибудь внезапном всеобщем отказѣ от жизненнаго благоразумія? В недовольствѣ людей, сразу как-то неблагополучно осмѣлѣвших и огрубѣвших? Тѣх, что повисали с опасностью для жизни на подножках трамвая, вѣчно спорили и нецензурно острили на улицах и в магазинах? Или тѣх, что мрачно встрѣчали полки уже значительно пріунывших новобранцев? Политически я, конечно, ни в чем не разбиралась. Но мистическое ощущеніе «благополучнаго» и «неблагополучнаго» в окружающем мірѣ меня

тогда не обманывало. Надвигалось крушеніе чего-то глубоко и прочно жившаго в нас.

Романтикѣ жизни, ставшей твердой дѣйствительностью в нашем трогательном дѣтствѣ и в нашей правдивой, хотя и не совсѣм счастливой юности, приходил конец.

XL

УЖЕ НА ПУТЯХ К СЦЕНѢ

В гимназію я больше не пошла. Знаменитый артист Александринскаго театра Ю... открыл с осени пріем на трехлѣтній курс в одной частной драматической школѣ. Пропустить этот год значило лишить себя возможности по окончаніи гимназіи поступить в его класс раньше, чѣм через два года. Идти в класс другого педагога мнѣ не хотѣлось. Театральный «генерал» сумѣл убѣдить маму в моем драматическом талантѣ и в необходимости отдать меня учиться в самыя «вѣрныя» руки.

Мама только спросила меня, смогу ли я сдать весной экзамены за послѣдній класс так же успѣшно, как если бы я училась в гимназіи.

— Смогу, — не колеблясь отвѣтила я.

— Ты, правда, не получишь медали, сдавая экзамены экстерном. Это мнѣ безразлично. Но аттестат должен быть хорошим. А то распустишься без гимназической дисциплины и бу-

дешь учиться, как попало. Репетиторов держать не могу. Учись сама и провѣряй себя у сестер.

Я на все дала согласіе.

В драматической школѣ экзамены были назначены на шестое сентября. Длились они три дня. В первый день пришло чуть ли не двѣсти человѣк. Из них «отсѣяли» ко второму дню половину. К третьему дню «вогнали» количество учеников в установленную норму. Нас осталось 19 дѣвушек и 6 юношей.

В первый день вес заряд моего волненія пропал даром. Я приготовила отрывок из «Мцыри», монолог Настеньки из «Бѣлых ночей», басню «Орел и змѣя» Полонскаго. Когда назвали мою фамилію, я робко вышла на ученическую эстраду и, забыв поклониться, встала у рампы, прямо против зеленых столов, разставленных в глубинѣ зрительнаго зала. Здѣсь была собрана цѣлая комиссія актеров, режиссеров, художников. Директор школы и сам знаменитый Ю... к которому мы всѣ стремились попасть на первый курс, сидѣли в креслах, немного поодаль от комиссіи. Я боялась повернуть голову в их сторону и, чувствуя страшное напряженіе в спинѣ и в затылкѣ, стояла, как каменная, терпѣливо преодолѣвая рѣжущій свѣт рампы.

— Назовите полностью ваше имя, отчество и фамилію? — сказал директор очень громко и раздѣльно-внятно, давая этим мнѣ понять,

что и я должна говорить так же.

Я отвѣтила.

— Вы из какой гимназіи? Вѣдомства Императрицы Маріи?

— Да.

— Пожалуйста, поклонитесь комиссіи.

Я сдѣлала реверанс. Всѣ за столом засмѣялись.

— Очень изящно. Но это по-гимназически. А теперь, пожалуйста, не реверанс, а поклон, как в театрѣ, по-актерски.

Я поклонилась.

— Что вы для нас приготовили?

Я назвала свои экзаменаціонныя вещи.

За столом пошептались. Кое-кто переглянулся с Ю..

— Отлично. Приходите завтра в эти же часы. На предварительном ознакомленіи с вашими внѣшними данными вы допущены к экзамену.

Я не сразу поняла в чем дѣло. Меня только заботил вопрос, как поклониться уходя: «по-актерски» или «по-гимназически». — Попробую по-актерски... Я поклонилась, но, кажется, слишком низко... и растерянно присовокупила реверанс.

— Браво, браво мадемуазель. Итак — до завтра.

А на завтра я уже не мучилась ярким свѣтом рампы, так как выйдя на эстраду нашла

в себѣ мужество свободно двигаться по ней, ища удобнаго и спокойнаго для глаз мѣста.

— «На горах, под метелями,

— «Гдѣ лишь ели однѣ вѣчно зелены, — начала я басню.

И не успѣла дойти до половины, как услышала голос Ю...

— Благодарю вас. Достаточно.

— Провалилась! — подумала я. Однако, разрѣшенія покинуть эстраду за этим не послѣдовало. За столом мучительно долго совѣщались. Я постояла, потом робко спросила:

— Прочесть прозу?

— Не надо. Прозу вы прочтете завтра.

— Значит, все-таки не провалилась, — с облегченіем вздохнула я.

— Вы поете? То есть, учиться вам, вѣроятно, еще рано, но у вас есть голос? Слух? — спросила из-за стола какая-то дама в большой, плоской, почти закрывавшей ея лицо шляпѣ. — Вѣрно, учительница пѣнья, — догадалась я.

— Есть слух и маленькій голос.

— Альт?

— Нѣт. Я пою в гимназіи сопрано.

— Как странно! А говорите довольно низким, грудным голосом, — сказал ея сосѣд-актер.

— Чего же тут страннаго? Это часто бывает, — совсѣм по-домашнему отвѣтила пѣвица. — Вот Нина Кошиц, например! Говорит низко, поет высоко... Это даже хорошій признак.

Из этого разговора я поняла, что меня уже считают как бы принятой, и за завтрашній экзамен волноваться не слѣдует.

Послѣ меня читал отрывок из «Пѣсни о купцѣ Калашниковѣ» необыкновенно красивый, напудренный и нездорово-блѣдный юноша. Громким, трубным, литым голосом он разводил странныя рулады и модуляціи, явно подражая кому-то из актеров.

— Под Студенцова работает, — шепнула, хихикнув, пухленькая, бѣлокурая дѣвушка, только что прочитавшая басню и допущенная к завтрашнему экзамену.

— Да, да, вѣрно, под Студенцова, — также засмѣялась я, прячась в кулисы. — Зачѣм это? Читал бы по-своему...

— Он частный ученик Студенцова, потому и старается подражать.

— А вы откуда знаете?

— Я тут многих знаю. Третій год экзаменуюсь. Двѣ первых фильтровки пройду, а на третьей не берут. И его также.

— Почему же?

— Да, вѣдь, это трудно сказать... Раз на мое амплуа четыре дѣвушки к послѣднему дню отсѣялись. Другой раз уж очень сильная протекція у моей конкурентки оказалась. А уже совсѣм было меня взяли!

Я понурила голову и потихоньку спросила ее, как старшую:

— Как вы думаете, сейчас нам уже можно идти по домам?

— Можно.

Мы вышли в коридор, взяли с подоконника наши шляпы, перчатки, книжки.

— У меня никакой протекціи нѣт, — безнадежно сказала я.

— А вам и не надо. Вас и так возьмут. Ю... помѣшан на античных трагедіях, а гдѣ ему среди русских дѣвиц прирожденную Антигону или Электру найти? Вот нам, бытовым, плохо! Нас хоть отбавляй! А у вас, собственно говоря, конкуренток нѣт. Высокая, тоненькая, профиль совсѣм «Еврипидовскій», — засмѣялась дѣвушка. — Валяй гекзаметр: «Гнѣв, богиня, воспой Ахиллеса, Пелеева сына»... Тут будет выбор у них только между вами и этой черненькой Эрдигари. Видѣли гречанку? У нея и протекція недурная: отец — чиновник Двора. Но я думаю, возьмут вас. У нея дикція хуже.

— Не знаю, не знаю... Пусть лучше обѣих возьмут. Она мнѣ очень нравится.

— Возможно, что так и будет, — процѣдила через роговыя шпильки в стиснутых зубах дѣвушка, на ходу поправляя и перекалывая свой пышный, бѣлокурый шиньон.

— До завтра.

XLI
СОПЕРНИЦЫ ПОНЕВОЛѢ

На «завтра» нас явилось совсѣм мало. И напудреннаго юноши «под Студенцова» уже не было. Немного по-казенному, но отчетливо и свободно прочла я начало монолога из «Мцыри». Меня прервали. Попросили прочесть прозу. Отрывок из «Бѣлых ночей» я прочла почти цѣликом. Сразу же послѣ меня, не по алфавитному порядку, вызвали Эрдигари. Красивая гречанка с темносиними глазами и с блестящими, черными, гладко зачесанными за уши волосами вышла на эстраду. Она неестественно улыбалась от смущенья и не знала, куда спрятать свои красноватыя, худыя, длинныя руки. Читала она недурно, но было что-то немузыкальное, однотонное в ея голосѣ, и была какая-то напряженность в дикціи. Послѣ нея опять вызвали меня. Повидимому, пухленькая дѣвушка была права: в комиссіи не на шутку шел выбор между нами.

Неожиданно дѣло разрѣшила дама в широкополой шляпѣ. Она встала со своего мѣста, подошла к директору, пошепталась с ним, потом предложила нам пройти к фисгармоніи в сосѣднем залѣ. Мы прошли через коридор в маленькій, уютный зал, украшенный портретами Комиссаржевской, Савиной, Давыдова, Варламова.

— Подойдите сюда, пропойте нѣсколько нот, — сказала она.

У гречанки в глазах заметался испуг и отчаянье.

— Ну, хотя бы вы первая... Споете гамму? — спросила меня пѣвица и взяла до-мажорный аккорд.

Я пропѣла без ея подыгрыванья.

Она одобрительно закивала головой. Стала повышать гамму по полтона. Я спокойно слѣдовала за ней.

— Молодец, — сказала она.

— У меня мать — пѣвица и учительница пѣнья. Я ежедневно слышу гаммы,—пояснила я.

— Ах, вот что! Тогда нѣт ничего удивительнаго, что вас гаммы не смущают. А, вѣдь, это, не учась, рѣдко кто может. Ну, спойте что-нибудь. Хотя бы «Коль славен».

Я спѣла.

— Мой совѣт вам: учитесь, дѣвочка, пѣть. Голос небольшой по калибру, но тембр мягкій, музыкальный, ласковый. Да вам, впрочем, мама́ сама все укажет.

Я отошла к окну. Она подозвала к себѣ Эрдигари.

— Я совѣм не могу пѣть, — сразу же заявила гречанка. Крупныя слезы выступили на ея прелестных глазах и смяли мохнатыя, стрѣльчатыя рѣсницы.

— Ну, ничего, пропойте просто: а, е, и, о —

все на одной нотѣ.

Дѣвушка вступила не в тон. Голос был хрипловатый, безпомощный, невѣрный. Помучилась с ней пѣвица минут пять.

— Нѣт, вы правду сказали. Вы пѣть не можете, — ласково сказала ей пѣвица и обняла ея худенькую талію.

Директор подошел к нам и тоже необыкновенно ласково заговорил с ней.

— Приходите на будущій год. У вас отличная внѣшность для сцены, и способности есть. В будущем году, вѣроятно, будет принимать сам Владимір Николаевич Давыдов. Вы не прогадаете. А тут на одну вакансію вас обѣих отмѣтили. Мы должны будем дать предпочтеніе этой барышнѣ... Во-первых, сам Юрій Михайлович за нее, а во-вторых, у нея слух хорошій и голос. А это очень существенная вещь для героическаго репертуара.

— Я понимаю... конечно, — сквозь слезы отвѣтила гречанка, окончательно растрогав нас всѣх.

— Значит, рѣшено... Я уже принята, — ликовала я, но все же чувствовала, что было бы лучше, если бы все произошло без очной ставки с конкуренткой. Нужно было преодолѣть непріятное чувство, пожалуй, даже стыд за ея по-дѣтски огорченный вид из-за меня.

— Ну, что же дѣлать? я же не на зло ей прилично спѣла! — утѣшала я себя.

Через недѣлю нам роздали в канцеляріи листки с расписаніем занятій. Среди предметов были: декламація, сценическое искусство, гримм, пѣніе, балет, гимнастика, исторія искусств, психологія творчества.

«Театральный генерал» исхлопотал мнѣ (а, может быть, сам выдавал инкогнито) стипендію, которая цѣликом оплачивала школу с ея расходами. А расходы перваго мѣсяца оказались большими: книги, гимнастическій и балетный костюм, балетныя туфли, ящички лейхнеровских карандашей и прочія мелочи. Да и плата за ученіе была вдвое больше гимназической. На все это стипендіи генерала вполнѣ хватало. Но дома встал тот же вопрос: надо было еще что-то зарабатывать в помощь мамѣ. Старшія сестры, кончившія гимназію, поступили учиться в консерваторію, но зарабатывали уроками не только на свои расходы, а вносили кое-что и в общую кассу дома. Мама уже третій год вела класс пѣнья в Народной консерваріи, а на лѣтніе каникулы уѣзжала в Кисловодск и весь сезон без отдыха работала в своем пансіонѣ-санаторіи. Нужно было и мнѣ имѣть свой маленькій заработок. Занятія в театральной школѣ были вечерними, день у меня был почти совсѣм свободен. Уйдя из гимназіи я, конечно, потеряла и урок с Сидорович. Его пришлось передать Катѣ Вилкиной. Мама не сразу рѣшилась позволить мнѣ искать себѣ

заработок. Боялась за мое здоровье, за то, что я переутомлюсь, не сдам весной экзаменов в гимназіи.

— Сдам, сдам, — увѣряла я. — Засяду зубрить на первой недѣлѣ поста и за пост весь год нагоню.

Подвернулось легкое, простенькое мѣсто: корреспондентки в одном из отдѣлов Татьянинскаго комитета. Занятія там были только с 10-ти до 2-х часов дня; никакого умственнаго напряженія: сидѣнье в залѣ, в обществѣ благовоспитанных дѣвиц (почти всѣ онѣ устроились на мѣста по протекціи той же княгини Бѣлосельской, что и я), приличное жалованье. Мое несовершеннолѣтіе было искуплено хорошим знаніем нѣмецкаго языка, необходимаго в перепискѣ с бѣженцами из Прибалтійскаго края.

Итак, утром я была почти «чиновницей», вечером — почти «артисткой»...

XLI

СЛУЧАЙНЫЙ ДЕБЮТ

На Рождество, в самый разгар нашего ученическаго года, «театральный генерал» захотѣл поставить сам со своими друзьями очаровательную старинную пьеску из французской жизни. Меня, желторотую первокурсницу, он пріѣхал приглашать уже как профессіональную

артистку на главную роль в спектаклѣ. Мама дала за меня согласіе, не считая себя вправѣ отказывать ему в моем участіи. Когда я пришла домой со службы, у меня на столѣ лежала книжечка с отмѣченной красным карандашом ролью для меня. Роль эта была прелестна, увлекательна. Рыцарскія времена, — дѣвушка-подросток, переодѣвшись мальчиком, бѣжит к своему жениху в далекую страну, в военный стан. Хочет стать его оруженосцем и раздѣлить с ним всѣ тяжести похода. По дорогѣ она попадает в уютныя дворянскія помѣстья с их патріархальным укладом. Гдѣ-то в замкѣ танцует с молодежью менуэт, гдѣ-то декламирует и поет под аккомпанимент цитры сантиментальные романсы.

В первую же воскресную считку я знала свою роль наизусть. Привела с собой я на роль второй героини тоже «профессіоналку» — и даже со старшаго курса — 18-тилѣтнюю Иду Бек.

Театральный генерал не поскупился на постановку: и декоратор, и художник, и гример были приглашены из Малаго театра.

За день до спектакля свободных мѣст, несмотря на высокія цѣны, уже не было. Почетные билеты разошлись первыми. Чистый сбор был предназначен для раненых.

Происходил спектакль в особнякѣ самого генерала, в огромном двухсвѣтном залѣ в

которомъ была намощена настоящая, большая сцена, съ кулисами, съ суфлерской будкой, съ раздвижнымъ шелковымъ занавѣсомъ. Только оркестра не было. Но былъ хорошій квартетъ изъ консерваторскихъ преподавателей.

Не скажу, чтобы роль премьерши показалась мнѣ тогда такой ужъ соблазнительной. Наединѣ съ собой я чувствовала даже подавленность и робость въ сознаніи той огромной отвѣтственности, которая лежала на мнѣ. Но на сценѣ бодрилась, стралась не теряться... Только на генеральной репетиціи, уже въ черномъ атласномъ камзолѣ, въ кружевномъ жабо, въ треуголкѣ и въ бѣломъ парикѣ, въ высокихъ, мягкихъ сапожкахъ, съ лиловымъ плащомъ, перекинутымъ черезъ руку — я ахнула отъ восторга при видѣ этой роскоши и изящества и не на шутку растерялась! А вдругъ да стихи стану путать? А вдругъ спѣть не смогу? В менуэтѣ съ колѣнъ со страху не подымусь?

Скоро это волненіе перешло въ настоящую панику.

— А чего же было лѣзть въ драматическую школу, если ты такая трусиха? ... повторяла та часть моей души, которая не потеряла еще благоразумія.

— Не къ чему всѣ эти доводы и увѣщеванья, боюсь — и кончено! Боюсь и, навѣрное, оскандалюсь! — упорно, словно себѣ на зло, защищала собственное малодушіе другая часть души.

— Если осрамлюсь на сценѣ — уйду совсѣм из театральной школы. Сдам в гимназіи экзамены и поступлю на математическій факультет. Что это за ужас быть артисткой!

Ночью, вскрикивая, я просыпалась от ужасных призраков своего близкаго позора; днем, ходила с непріятным, щекочущим дыханіем под самой глоткой... Ждала спектакля, как катастрофы.

Но ко дню спектакля все измѣнилось: пришло сладостное ощущеніе творческаго волненія. Пришла свобода и убѣдительная для самой себя и для других радость от сознанія значительности и правды всего, что говоришь или поешь на сценѣ.

Раздвинулся занавѣс, и очаровательная пасторальная картина стала разыгрываться перед моими глазами. Я слѣдила за происходящим на сценѣ сбоку, из-за кулис. Но вот розовый закат смѣнился темнотой. «Пейзаны» разошлись. Я услышала позади себя шопот: — Флорестан, ваш выход.

Я сдѣлала нѣсколько шагов в темноту сцены, спряталась в кусты роз за скамейкой. Публика была, хотя слабо, но все же освѣщена. В тѣсных рядах нарядных гостей легко можно было различить лица знакомых. Довольно ярко поблескивала тяжелая хрустальная люстра над головами зрителей. Из зала доносились волнующіе шорохи, волнующее дыханье...

— Ничего и никого не упуская из вида, ни минуты не теряя чувства д ѣ й с т в и т е л ь н о с т и, я ощутила и поняла то же, что и в дѣтствѣ, в скромном садикѣ тети Гени, на бабушкиных именинах. Поняла, что э т о - т о и п р е к р а с н о: жизнь, дыханье зала — видимаго, чувствуемаго, совсѣм реальнаго — и рост какого-то ликующаго, освобожденнаго творческаго волненія в груди. Волненіе без страха. Умиленно-благодарное ко всему происходяшему и во внѣ и в душѣ — р а д о в а н і е...

Надо мной взошла луна, — пожалуй, слишком внезапно освѣтившая меня. Публика померкла перед глазами. Началось скрипичное adagio. Я медленно раздвинула кусты роз и в лунном свѣтѣ стала видима публикѣ сначала до плеч, потом до половины туловища, позади деревянной скамьи с полукруглой спинкой. Так я простояла с полминуты. И только когда ясное ощущеніе готовности момента (пришедшее не то из зрительнаго зала, не то из моего собственнаго сердца) подтолкнуло меня к тому, — я тихо назвала имя своего далекаго жениха. Интонація вышла (совсѣм неожиданно для меня самой) такой любовно-мечтательной, какой я никогда не могла добиться на репетиціях. Я повторила имя жениха и замолкла. Зал отвѣтил мнѣ, как выстрѣлом, рѣзко обрушившимися аплодисментами. Я вышла из моей засады в розовых кустах...

Нелегкой была моя роль в этом простеньком полудѣтском спектаклѣ! Костюм пажа, манеры, голос юноши, прiобрѣтенные «на обман людям», не должны были мѣшать другому: в минуты одиночества на сценѣ естественно возвращаться к облику трогательно влюбленной дѣвушки-подростка. Словом, надо было сумѣть сочетать в одном образѣ и Флорестана и Розину... Я боялась, что буду сбиваться. Но на сценѣ это как-то разрѣшалось само собой: словами, положенiями, драматическими моментами. И мнѣ оставалось только слѣдовать за правдой, а вовсе не изображать ее.

Наступил момент пѣнья под цитру. И тут я совсѣм спокойно сняла с головы треуголку, перебросила через перила скамейки свой лиловый плащ и подошла к самой рампѣ.

— Ну что же, как Бог даст! — внутренне сказала я себѣ, и тихо, просто, почти разговорно начала:

«Слова любви моей и пламенной и чистой
«Пусть долетят к тебѣ на ручкѣ
серебристой».

И пѣла я опять-таки не так, как на репетицiях. Там — нѣсколько тщеславно и небезкорыстно старалась показать и режиссеру и участвующим свои собственныя данныя в смыслѣ голоса и музыкальной передачи. Здѣсь, на спектаклѣ, так умиленно и безспорно чувствовала себя в дружбѣ с зрительным залом, с

образом Флорестана, с цитрой, даже с кружевным жабо и с кружевными манжетами, что старалась только как можно трогательнѣе и искреннѣе изобразить с а м о г о Ф л о р е с т а н а. А его образ и без того уже был мил и публикѣ и мнѣ!

Протанцовали мы с маркизой менуэт. И тут произошел весьма комический эпизод. Бѣлокурая маркиза послѣ конца менуэта сѣла, обмахиваясь вѣером, на скамью... прямо на вершину моей треуголки, покоившейся рядом с плащом. Картон треснул и провалился. Прелестная маркиза вскочила и виновато, испуганно посмотрѣла сначала на меня, потом на мой сплюснутый головной убор.

Покидая радушных хозяев замка, я отходила... лицом к публикѣ, хитро пряча в лѣвой рукѣ, за спиной, мою трагическую треуголку.

Все же из зала послышались сочувственныя восклицанья и сдержанный смѣх...

XLIII

ИТКА

На третій день послѣ сектакля, в самый разгар наших разговоров о нем, в разгар визитов друзей и добрых знакомых, с радостным и даже почтительным удивленьем глядѣвших

теперь на меня, — пришла телеграмма из Баку. Итка, моя младшая кузина, друг и недруг моего дѣтства, скоропостижно скончалась. Мама плакала, жалѣла ее, жалѣла тетю Лину, недоумѣвала о причинѣ смерти дѣвочки. В ожиданіи подробнаго письма сама посылала тетѣ телеграммы и письма. Всплакнули и мы. И стало мнѣ стыдно и жалко, что когда-то, в дѣтствѣ, приревновала к Иткѣ Нешу, потому что Неша отдала ей мою любимую игрушку: бархатную розовую свинку. Правда, я тогда благородно смолчала, уступив ей эту свинку, и вообще ничѣм не обидѣла ее, но пятилѣтняя Итка — «подлиза» и «тихоня» — никогда уже впослѣдствіи не возбудила у меня ни дружескаго интереса, ни симпатіи к себѣ. Я не знала и не хотѣла узнавать, как она росла, что в своей жизни любила. Не знала, как стал складываться ея характер, была ли она дѣйствительно «тихоней и подлизой», или это ея природная ласковость и мягкость сами так привлекали к ней старших? Может быть, то, что мы в дѣтствѣ в ней осудили, из-за чего затаили против нея недовѣрчивое, недоброе чувство — как раз и было лучшей стороной ея натуры? Почему я не провѣрила при наших слѣдующих встрѣчах мое впечатлѣніе дѣтства, а всегда относилась к ней с предубѣжденіем?

Теперь было стыдно за это. Хотѣлось поскорѣе, при первой встрѣчѣ все исправить, из-

мѣнить. Но мѣнять было поздно... Четырнадцатилѣтняя Итка уже лежала с высоко поднятыми бровями, с сжатым ротиком, в бѣлом нарядном платьѣ в засыпанном цвѣтами гробу: такой предстала она нам через недѣлю на фотографической карточкѣ! А на столикѣ перед окном лежал ея дневник, который мы тоже читали потом. Краснощекая, упитанная сластена, чуть лѣнивая ученица Бакинской гимназіи писала в нем за два мѣсяца до своей внезапной кончины о жалости к людям, о любви к Господу и о желаніи поскорѣе уйти к Нему... Вот, что оказалось душевным содержаніем дѣвочки, которую мы, по старой памяти, не долюбливали, как «подлизу».

И было странно мнѣ, что умерла она, а не я — несмотря на мою живость и унаслѣдованную от матери предпріимчивость, всегда слабенькая, хрупкая, болѣзненная. Словно как-то несправедливо вышло!

Но когда пришло письмо с описаніем ея смерти — правда оказалась за Иткой.

Вернувшись в 10 часов вечера с именин подруги, Итка почувствовала сильную головную боль. Легла спать. Ночью проснулась она уже в бреду. Смѣрили температуру — 40°. Вызвали доктора. Сначала все казалось ясным: переѣла дѣвочка сластей, засорила желудок. Дали ей слабительное, положили лед на голову.

Под утро Итка проснулась и рѣшительно

сѣла в подушках.

— Мама, умираю. Не бойся, не плачь. Я понимаю, что это — смерть.

Тетя, плача, бросилась к ней, старалась разубѣдить ее в ея предчувствіях. Опять позвонили к доктору.

— Не надо. Вы только мѣшаете мнѣ. Не суетись, не плачь. Больно головѣ от твоих воплей... Пожалѣй меня... Давай, мамочка, простимся. И больше не мѣшай мнѣ...

Тетя, обезумѣв от горя, бросилась обнимать ее. Итка мужественно перекрестила мать, и попросила ея благословенія...

С пылающим от уже начавшейся агоніи лицом, она еще выше приподнялась в подушках. Сложив на груди руки, прерывающимся, слабеньким голосом пропѣла по-армянски: «Святый Боже». Окончив молитву, вскрикнула и упала на бок со стиснутыми у груди руками.

К утру ея не стало...

XLIV

ГИМНАЗИСТКА НА ЧАС

14 января, в день Святой Нины, мы с Тамаринькой пошли в гимназію поздравить, по примѣру наших ученических лѣт, начальницу гимназіи Нину Владиміровну.

Сколько волненій выпало на мою долю в

этот счастливый день! Еще внизу, в огромном полутемном вестибюлѣ я пережила ту же благоговѣйную радость, что и семь лѣт назад. Только теперь мнѣ уже не надо было стоять за рѣшеткой и издали любоваться уютом и дружной жизнью русских дѣвочек. Я сразу же прошла к вѣшалкам учениц и раздѣлась, повѣсив свою шубу в отдѣленіи выпускного класса. Нянюшки, швейцар, сторож, всѣ с лаской, хотя и не без нѣкотораго укора, встрѣтили меня — бѣглянку. Нашли меня повзрослѣвшей, похорошѣвшей, совсѣм уже «барышней».

— Еще два-три года, и уж «невѣста!» — шепнула мнѣ Евфросинья Павловна, старая, словоохотливая сторожиха из средняго коридора.

Перед канцеляріей мы долго ждали, стоя на вытяжку, как ученицы, пока к нам не вышла сама Нина Владиміровна. Она привѣтливо поздоровалась с нами и предложила послѣ молебна придти выпить чашку чая на ея квартирѣ, тут же, рядом с канцеляріей.

Потом Тамаринька прошла в учительскую, а я посидѣла одна в коридорѣ на подоконникѣ. Кругом меня была дѣловая тишина. Мѣрно тикали часы над дверью канцеляріи. Иногда раздавался нетерпѣливый голос из дальняго класса, гдѣ математик, сердясь на кого-то, объяснял теорему, неистово ударяя и скрипя по доскѣ мѣлом и, вѣроятно, раздавливая и кроша его на куски. Попахивало свѣжими опилками

от мокрых плит пола. Снизу доносился аромать традиціоннаго капустнаго пирога и жареных котлет. Из буфетной торопливо прошел сторож Козлов, неся обѣими руками поднос с множеством бѣлых фаянсовых кружек крѣпкаго чая.

— Как изволите здравствовать, барышня,— на ходу проговорил он и, не дожидаясь отвѣта, с напряженіем пронес тяжелый поднос к табурету около класса.

Вскорѣ раздался звонок. И сразу же за ним какой знакомый гул облегченія, гул свободы, шум захлопываемых книжек, топот ног и голоса классных дам:

— Mesdames, mesdames, тише. Подождите. Урок еще не кончен.

Но уже заскрипѣли и захлопали двери, послышались быстрые шаги учителей, чье-то веселое напѣванье, чей-то смѣх. Дѣвочки веселой гурьбой бросились к чашкам. Зазвенѣла посуда, зашелестѣла бумага разворачиваемых бутербродов.

— Чиж! Чиж пришел!

— Кого мы видим!

Подруги обступили меня. Я бросилась цѣловать то одну, то другую, едва сдерживая слезы. Ада одернула меня за рукав и повернула к столику у окна, гдѣ сидѣла и, улыбаясь, слѣдила за нашей встрѣчей Вѣра Николаевна. Я поняла, что неладно поступила: подошла к ней,

сдѣлала реверанс. Она встала, подала мнѣ руку и поцѣловала меня в лоб.

— Ничуть не измѣнилась, такой же Backfisch*, как была, — сказала она мнѣ. — Только косы подвернула и платье перемѣнила.

— Лукавит. Ты очень похорошѣла. И платье свѣтское тебѣ идет, — шепнула Катя.

— Свѣтское! А вы-то кто, монашки что ли? — засмѣялась я.

— Монашки, не монашки, но пока еще казенныя птицы, а ты вольная душа, артистка!

— Ну, до этого еще очень далеко, — отвѣтила я со вздохом.

— Mesdames, mesdames, пора идти на молебен. Кончайте завтрак. Будем строиться в пары, А вы как же, со мной пойдете? — спросила Вѣра Николаевна.

— Пусть с кѣм нибудь из нас в парѣ пойдет. Нас сегодня нечетное число = 37, — подсказала Маруся. — Можно, Вѣра Николаевна?

— Да, собственно говоря, не полагается. Но, я думаю, никто ничего не скажет Встаньте с кѣм-нибудь в послѣднюю пару.

— Новенькая, новенькая, смотрите, — зашептали в рядах младших классов, когда мы проходили мимо.

В залѣ начальница велѣла нам встать в хор. Так мы и сдѣлали.

---

* Подросток.

И вот опять батюшка — отец Іаков — перед стѣнным образом Спасителя за оградой. Мнѣ он показался постарѣвщим и каким-то опухщим. — Вѣрно попрежнему пьет, — огорченно подумала я.

— Благословен Бог наш, всегда, нынѣ и присно и во вѣки вѣков, — начал он знакомым ласковым, сипловатым голосом.

Я посмотрѣла на его руки: онѣ тряслись больше прежняго.

Послѣ молебна я посидѣла с нашим «литературным кружком» в углу верхняго зала возлѣ фисгармоніи и едва успѣвала отвѣчать на разспросы. Потом взяла из рук Кати книжку, с которой она всю перемѣну не разставалась... Ужас! Послѣдняя часть алгебры! Я открыла ее и так испугалась, что сразу же захлопнула.

— Много прошли?

— Много. Строгій Михельсон, придирчивый, загонял нас.

— А как же я-то буду сдавать, Господи! Вѣдь я еще и ни за один предмет не принималась!

— Врешь!

— Правда.

— Ну, ничего, сдашь, даст Бог — не провалишься! Приходи, зубрить вмѣстѣ перед экзаменами будем.

— Это невозможно. Для вас — повтореніе, а для меня — дикія дебри, дѣвственные лѣса.

Я и старое-то все забыла! — не на шутку разволновавшись, призналась я. — А еще обѣщала мамѣ на кругое 12 по всѣм предметам сдать!

Тут мы дружно расхохотались. Подошла Вѣра Николаевна.

— Ваша сестра прошла в квартиру Нины Владимiровны. И вы должны идти туда.

— Я боюсь.

— Нечего бояться. Вы теперь гостья, а не ученица. Да там все свои: учителя, учительницы и окончившiя ученицы. Идите, идите.

Я опять обнялась со всѣми и спустилась в квартиру начальницы.

XLV

У ВЫСОКОЙ ИМЕНИННИЦЫ

На предсѣдательском мѣстѣ за чайным столом сидѣл отец Iаков. Я подошла к нему под благословенiе. Он, благословив, подержал меня двумя пальцами за подбородок и ласково улыбнулся.

— Рады вас видѣть. Господь благославит вас.

Я отошла в сторонку. Начальница указала мнѣ мѣсто на дальнем краю стола. Я сѣла. Говорили о войнѣ, но сдержанно, неестественно спокойно. Было ясно, что у всѣх война и все с ней связанное — наболѣвшее мѣсто, а пото-

му, надо держать себя в руках и умалчивать обо многом. Особенно же в стѣнах казенной гимназіи, да еще в присутствіи «начальствующих лиц»!

— А предчувствует ли кто-нибудь из них еще нѣчто страшнѣе войны, как предчувствую я? — думалось мнѣ. Я взглянула на отца Іакова. Он постукивал пальцами по стакану, ни на кого не глядя, никого не слушая и о чем-то с сокрушеніем размышляя. Нина Владимировна перевела разговор на недавнюю елку в каком-то воспитательном домѣ, на необыкновенные таланты малышей, на заботу и жертвенную любовь к ним какого-то дамскаго комитета. Стало очень неинтересно слушать.

— Ну, а теперь прочтите нам какіе-нибудь хорошіе патріотическіе стихи, — обратилась она ко мнѣ. Я, подавив свое полное нежеланіе выступать в тѣ минуты, послушно встала из-за стола и подошла поближе к дверям. Когда я начала читать, сзади скрипнула дверь. Я обернулась и увидѣла, что вошел Сумароков

«Привыкла кровію платить

«За горькія обиды меньших братьев», — читала я стихи о Россіи, вдруг, взволновавшись, схватив нѣсколько излишне патетическій тон и рисуясь голосом и темпераментом больше, чѣм слѣдовало. Мою декламацію, однако, приняли доброжелательно. Попросили прочесть еще что-нибудь. Я замялась, не зная что вы-

брать. У нас в театральной школѣ читали все про любовь, да про любовь... В домѣ начальницы это было бы неумѣстным.

Сумароков как будто угадал причину моего смущенія и, ухмыляясь в ус, подсказал мнѣ:

— Прочтите басню Крылова. Самое вѣрное... Кстати, здравствуйте!

Он подал мнѣ руку.

Тут спас положеніе отец Іаков.

— Спѣли бы с сестрицей какой-нибудь хорошій дуэт, тоже поблагодарили бы вас.

Я очень обрадовалась такому предложенію. Мы с Тамаринькой прошли в маленькую гостиную по сосѣдству. Тамаринька сѣла за рояль. Мы спѣли под ея аккомпанимент дуэт из «Пиковой Дамы» — «Уж вечер». Гости слушали нас из столовой. Только Сумароков и географка послѣдовали за нами.

— Благодарю вас, mesdames, — сказала Нина Владимировна, когда мы кончили пѣть. Сердечно поблагодарите вашу матушку, что отпустила вас ко мнѣ.

Сумароков опять подошел ко мнѣ:

— Ну что же? Элеонора Дузэ, что ли?

— Смѣйтесь, смѣйтесь — отвѣтила я и сама засмѣялась.

— Как же вам теперь у нас нравится?

— Очень нравится.

— Пожалуйте назад!

— Нѣт, назад нельзя. Я и вперед-то о гимна-

зіи думать боюсь! Экзамены весной!

— С кѣм вы готовитесь?

— Ни с кѣм! Даже и одна-то еще не принималась за занятія.

— Вот тебѣ раз! А потом с кѣм будете!

— Одна, только сестры помогут.

Тамаринька уже простилась со всѣми в столовой. Очередь была за мной.

— Спасибо еще раз за доставленное удовольствіе. Итак, до весны?

— До весны, Нина Владимировна.

— Смотрите, чтобы на медаль! Вѣрнѣе сказать: как бы на медаль!

— Постараюсь, Нина Владимировна — отвѣтила я и тут же рѣшила, что я окончательно погибла и что надѣяться больше не на что.

Отец Іаков уже стоял у окна и, повидимому, тоже собирался уходить. Я подошла к нему и в ту минуту, когда он обратился ко мнѣ, почувствовала, что сейчас же должна сказать ему нѣчто очень важное и рѣшительное.

— Батюшка! — шепнула я. — Если мнѣ будет нужно получить отвѣты на очень важные вопросы... я приду к вам. Можно?

Отец Іаков ничуть не удивился.

— Приходите. Синодальный дом на Литейном знаете? Приходите. Никто ничего не будет знать, если вы не хотите.

— Спасибо. Я приду. Навѣрное, скоро приду.

Батюшка одобрительно кивнул головой и

благословил меня.

— Что тебѣ отец Іаков сказал на прощанье? — спросила меня Тамаринька, когда мы вышли из квартиры начальницы.

— А тебѣ-то что? — огрызнулась я.

— Да ты чего сердишься?... Я вѣдь не про Сумарокова спрашиваю и не про Юрика, — попадая в мой недобрый тон, отвѣтила Тамаринька. — А спрашиваю про священника.

— Дарю тебѣ и Сумарокова и Юрика... А меня с батюшкой оставь в покоѣ. Все равно, ничего не поймешь.

— Плюнь, Чиж, не сердись, — добродушно сказала Тамаринька, когда мы были уже в раздѣвальнѣ. — Я не хотѣла тебя задѣть...

Мы неожиданно для нянюшек поцѣловались и, хохоча сами над собой, пошли домой.

XLVI
МІР И ЕВАНГЕЛІЕ

А с отцом Іаковом было о чем поговорить.

— Если Господь жив, если жизнь за гробом, Страшный Суд, и все, о чем мы как-то только в пол-уха привыкли слушать — есть настоящая, реальная дѣйствительность, то надо все круто мѣнять, — твердила себѣ я.

Вечерами, вернувшись с курсов, я, по своей живости, не могла удержаться, чтобы не пере-

дать за чайным столом всѣ послѣднія новости моей «театральной» жизни. И опять, как и в дѣтствѣ, все изображала в лицах, с мимикой, с жестами, имитаціей голосов и интонаціей. Домашніе привычно ждали от меня этих разсказов. Только случайная головная боль, усталость, или присутствіе за столом совсѣм мало знакомых гостей освобождали меня от «театра дома». Послѣ чая мы вскорѣ же расходились по своим спальням. Тамаринька и я, по дѣтской привычкѣ, все еще на ночь молились на колѣнках, каждая в своей постели, и цѣловали образки, висѣвшіе у изголовій. Гасили лампадку, засыпали.

А на разсвѣтѣ начиналась моя самостоятельная, скрытая от всѣх жизнь... Я вставала, брала с полки Евангеліе. Стараясь не скрипнуть кроватью, не шелестнуть переворачиваемыми листками, садилась в подушках.

И чѣм чаще читала, чѣм глубже старалась проникнуть и в слова Господа и в поученія апостолов, — тѣм острѣе и неизбѣжнѣе вставал вопрос о рѣшеніи.

— «Мір во злѣ лежит», «в мірѣ сем прелюбодѣйном и грѣшном», «дружба с міром — вражда против Бога».

Было ясно, что нужно от міра бѣжать. Но от какого міра? Было ли что-нибудь дурное в нашем дружеском любовном быту в гимназіи? Или дома, в семьѣ? В нашей любви друг к

другу, к животным, к природѣ? К музыкѣ? Может быть, был грѣшок в излишней любви к театру?... Пожалуй. Но в ту пору он не проявлялся ни в какой страсти: ни в тщеславіи, ни в самолюбованіи, ни в зависти. Даже в театральной школѣ эти страсти еще не успѣли распустить свои ядовитые цвѣтки, хотя уже кое-гдѣ проростали из нѣдр наружу... Распущенность нрава, разврат — об этом смѣшно было бы говорить! Четырнадцатилѣтнія гимназистки в провинціальных городах, привыкшія прогуливаться с молодежью послѣ уроков по каким-нибудь городским садам и бульварам, были вѣроятно, смѣлѣе и свободнѣе нас. Воспитанныя большей частью в казенных петербургских гимназіях или дома, в чиновничьих семьях — мы привыкли к строгости и дисциплинѣ.

И все-такки,даже такая, безобидная, казалось бы, жизнь не совпадала с Евангеліем. Привязанность к плоти міра, даже к самой незамутненной ея сторонѣ, явно что-то отнимала от устремленія к иному міру и к самому образу Христа.

— «Кто любит отца или мать болѣе нежели Меня, недостоин Меня», — читала я в подтвержденіе своему внутреннему, убѣжденному требованію максимализма в вѣрѣ и в служеніи Богу.

— «И всякій кто оставит домы...» — добавляла я к уже разрѣшенному в душѣ спору

между желаніем жить «как всѣ», или жить по-иному, по-евангельскому...

И вдруг, как бы опрокинутая в кривое зеркало и отраженная им, вставала передо мной наша, казалось бы, добрая христіанская жизнь и представляла тысячи случаев, идущих все же откровенно в разрѣз с Евангеліем...

Толстовство, времен незадачливаго моего знакомаго студента, меня и прежде не удовлеторяло. Теперь же оно просто отталкивало своей надуманностью, противорѣчіями и безблагодатностью.

Мелкій случай, незатѣйливый опыт из моей личной жизни раз навсегда отсѣк всѣ толстовскіе соблазны, если бы они даже и были возможны.

Как-то, будучи еще в четвертом классѣ гимназіи, я поспорила с мамой, домогаясь разрѣшенія одѣть на вечеринку новыя лакированныя туфли. Мама не соглашалась.

— Не к чему было с этих пор туфли на каблучках себѣ покупать. Отдай их Тамарѣ. Тебѣ купимъ другія. А сегодня пойдешь в простеньких, гимназических.

Мнѣ это казалось совершенно невозможным. Я пробовала маму убѣждать, и вдруг мама коротко обрѣзала меня:

— Сначала послушаешься моих слов, а потом — завтра или в другой раз — объясняться будешь.

Дальше возражать было невозможно.

Получилось так, словно я приготовила цѣлый ворох вѣских доводов и возраженій уже на самом кончикѣ языка, — а мнѣ вдруг с силой прихлопнули и замкнули рот извнѣ. Я чуть не подавилась собственным «зарядом» объясненій. Впервые почувствовала что-то вродѣ оскорбленнаго, даже взбѣшеннаго самолюбія. Но — некуда было податься! Нужно было смолчать и пережить такое явное пренебреженіе к моему разуму.

— Тогда я вообще никуда не пойду,—буркнула я обиженно.

Мама вышла из моей комнаты.

Через десять минутъ Настя постучала ко мнѣ:

— Барыня велѣли выходить. Онѣ готовы.

И тут обнаружилось, что и к моей обидѣ мама никакого вниманія не проявила. Попросту рѣшила не замѣчать ни слов, ни поступков такого глупаго существа, как я.

Я осталась одна. Что было дѣлать? Я достала свои простенькія туфли и гимназическое форменное платье. Пригладила, не глядя в зеркало, волосы, вздохнула и вдруг рѣшила... капитулировать до конца: пойти сейчас же к мамѣ сказать, что я сдаюсь, прошу прощенія, что я — дура и никакого себѣ оправданія не ищу. И это ощущеніе полной душевной капитуляціи, в признаніи высша-

го авторитета над собой, без всякаго желанія что-то выяснить, противопоставить этому авторитету свой разсудок — дало мнѣ сейчас же огромную, облагораживающую и успокаивающую радость. Я залилась слезами.

— Ты скоро? — спросила входя мама, умышленно не глядя на меня и как будто вовсе не интересуясь моим туалетом.

— Мама, я такая дура, такая дура, — плакала я, сидя на кровати. — Я так рада, что я это понимаю...

Мама засмѣялась и обняла меня,

В каком то полупьяном восторгѣ провела я этот вечер... Что это? Что такое со мной? Откуда пришла эта радость? Гораздо большая, чѣм от нарядных платьев, от туфель на каблучках? Радость какого-то совсѣм особаго порядка?

— Господи, Іисусе Христе, благодарю тебя,— мысленно повторяла я, сидя в гостях за чайным столом и тайком поглядывая на образ в углу...

И с полной очевидностью, ощутила, как легка и как реальна, дѣйственна была эта коротенькая молитва, какую нить она вдруг дерзновенно протянула от глупой, растерянно счастливой своей капитуляціей дѣвочки к темному образу в голубой мозаичной ризѣ...

* * *

Никаких особенных дружб в театральной

школѣ у меня не было. Я была младшей, получила прозвище «гимназистки» и, опять как в дѣтствѣ, в школѣ фрелейн Зидлер, возбуждала в учениках и преподавателях любопытство, смѣшанное с симпатіей и нѣкоторым покровительством. Я хорошо знала, что всѣ эти «старшіе», даже не подозрѣвают над какими серьезными, отвѣтственными для жизни вопросами задумывалась я. Знала, что им самим все, что не связано со сценой и с театральным бытом неинтересно и чуждо.

Гораздо ближе и родственнѣе мнѣ по духу были Ада, Маруся, Катя — но жизнь разлучила нас

В Татьянинском комитетѣ, гдѣ я по утрам переписывала адреса бѣженцев и отвѣчала на справки из прибалтійских губерній, — я тоже была и младшей и немного чужой. Худыя, плоскогрудыя дѣвицы, одѣтыя во все добротное и дорогое, (но не кокетливое и не изящное!), принадлежали к семьям Курловых, Языковых, Клейнмихель. Онѣ на зубок знали родословную друг друга и свою собственную; слегка картавили или гнусавили от привычки говорить на иностранных языках. Служба в Татьянинском комитетѣ была для них патріотической, почти такой же, как дежурство в лазаретах. Это было и прилично и благородно, поощряло к самостоятельности и к труду. Мнѣ же откровенно нужны были 55 рублей в мѣсяц, которые я почти

цѣликом отдавала мамѣ. Иначе я вовсе бы не служила, так как дѣла и так было много.

Надо было учиться «новому» дѣлу в театральной школѣ и заканчивать «старое» в гимназіи.

XLVII
ТРЕВОГА

Тревога в городѣ не унималась. Поползли слухи о каких-то смѣлых рѣчах в Думѣ. Эти рѣчи, тайком перепечатываемыя, распространялись через знакомых, по домам. И в наш мирный дом стали забѣгать друзья потолковать, подѣлиться новостями. Слишком часто звонил телефон. Обѣд подавался почти всегда не во время: Настя или запаздывала домой из очередей, или спѣшила в очередь. Впрочем, и очереди в лавках были тогда еще небольшія, и провизію мы доставали, какую хотѣли. Но зато новости из лавок почти всегда были сенсаціонныя!

Все это врывалось в жизнь нашей скромной квартиры, гдѣ жили мы с мамой ни о чем до тѣх пор, кромѣ ученья и скромнаго заработка, не заботясь.

Стали прибѣгать подруги из гимназіи. Раз пришла ко мнѣ прямо послѣ уроков в гимназіи рыженькая Маруся. Была она оживленной, веселой, как-то по новому, чуть ли не по-товари-

щески поздоровалась с мамой. И мама и я это сразу же замѣтили. Маруся бросила портфель на сундук в передней, достала тетрадь по физикѣ, попробовала что-то объяснять мнѣ. Я призналась, что еще и не начала готовиться, а потому все равно ничего из середины курса не пойму.

Маруся засмѣялась;

— Ну, ладно, во всяком случаѣ, перепиши послѣдніе уроки. Этого в книгѣ Краевича нѣт.

Но видно было, что пришла она не только из-за физики. Каких только военных и политических новостей не услышали мы от нея! Отец ея — горный инженер, соціалист, сидѣвшій не раз в тюрьмѣ, теперь, как говорится, «распустил перья!». В домѣ у них кипѣла оживленная подготовка к каким-то «событіям».

Мамин ученик, студент Знаменскій, который как раз собирался уходить послѣ урока, познакомившись в передней с Марусей — сразу почувствовал в ней родственную душу. Они заговорили, как-то обходя нас, и понимали друг друга, повидимому, с полслова. Я смотрѣла на маму. Мама молчала и хмурилась, хотя временами прислушивалась с большим интересом. Маруся ушла.

— Что за живая, развитая, передовая дѣвушка! — сказал Знаменскій. — Это ваша подруга? Сколько ей лѣт?

— Шестнадцать.

— Слишком передовая, — коротко замѣтила мама.

Вскорѣ заговорили о перестрѣлкѣ кое-гдѣ на окраинах. Уличные митинги стали обычным явленіем. Их, правда, разгоняли, но они тут же, на углах, выростали, как грибы.

Мои вечернія поѣздки в театральную школу всякій раз убѣждали меня в том, что петербургскіе сумерки кишѣли уже не только безпокойством, но и настоящей тревогой.

На курсах шла своя жизнь, ничего общаго с улицей не имѣвшая, но и туда проникали безпокойные разговоры о демонстраціях у застав, о засѣданіях в Думѣ... Иногда бывало затруднительно перейти в темнотѣ такой-то мост, или пройти у таких-то казарм.

Но в день бенефиса Ю... на премьерѣ Лермонтовскаго «Маскарада», мы, конечно, всѣ обѣщали быть... хотя бы на улицах стояли баррикады. Мейерхольд уже поразил наше воображеніе своей блестящей постановкой «Дон-Жуана». Постановка «Маскарада» обѣщала быть еще праздничнѣе и роскошнѣе. Мейерхольд дореволюціонных годов был еще на добром художественном пути...

В день спектакля мы с Тамаринькой, пообѣщав мамѣ обходить и объѣзжать всѣ подозрительныя в смыслѣ стеченія народа улицы и площади, направились в Александринскій театр.

Волненіе и театральный подъем у нас бы-

ли необычайные. Еще за нѣсколько дней до спектакля мы перечитывали и почти заучивали «Маскарад», чтобы лучше оріентироваться в театрѣ и получше запомнить отдѣльные пассажи в монологах и сценах.

К третьему акту глаза и щеки наши горѣли, мы взволнованно сжимали друг другу руки в темнотѣ зала при наиболѣе удачных и ярких мѣстах на сценѣ. Иногда плакали от прилива чувств.

И вдруг, во время третьяго акта замѣтили, что зал почему-то наполовину опустѣл... В антрактѣ, в фойе, таких радостных лиц, как у нас, мы не видѣли ни у кого. Публика словно только ради приличія дѣлилась впечатлѣніями, но глаза у всѣх были тревожные, нерѣшительные... Кое-кто, стараясь не обращать на себя вниманіе, направился к дверям вестибюля.

Мы подошли к буфету, взяли по апельсину, остановились разглядывать карточки артистов на столикѣ, рядом с буфетом, и вдруг... вдруг до нас донеслись из-за окон довольно рѣзкіе звуки какой-то гигантской трещотки...

— Пулеметы, — буркнул себѣ под нос буфетчик. Мы переглянулись.

Нахлопав до-красна руки, вспотѣв, охрипнув от безконечных вызовов, мы, молодежь, отходили послѣ конца спектакля от рампы при затушенном свѣтѣ люстры. Только вышли в коридор — и... словно забыли и своем восторгѣ.

— Господа, не переходите площадь напрямик! Вообще, лучше выходить боковыми дверьми, и небольшими кучками... — предостерегающе сказал какой-то военный, стоя у главнаго выхода темнаго вестибюля.

Всѣ разом притихли и замолчали. Так, молча, и разошлись. Оставшись на боковом тротуарѣ площади мы призадумались: как быть? Извощиков не было.

— Ну, идем пѣшком, потихоньку к Литейному, — рѣшила Тамаринька.

Мы пошли под руку.

— Воображаю, мама сейчас волнуется! Слышит перестрѣлку и не знает, куда за нами бѣжать, — сказала я.

На углу Литейнаго нас остановила конная полиція.

— Куда и откуда?

— Из Александринскаго театра домой, на Кирочную, — звонко отвѣтила Тамаринька.

— А это кто такіе? — полицейскій указал на кучку позади нас.

— Тоже из театра, публика.

— Хорошо. Постойте здѣсь.

Нѣсколько верховых подъѣхали к кучкѣ молодежи, шедшей за нами.

— Господа, по Литейному проспекту прохода нѣт. Идите в обход. Ниже Семеновскаго моста, за цирком Чинизелли можете пройти по боковым улицам.

— Вот тебѣ и раз! — воскликнул кто-то, из толпы.

— Не задерживайтесь, не задерживайтесь... проходите!... — опять скомандовали верховые.

Мы пошли в обход.

Ночью, подойдя к дому, мы не нашли у ворот дворника. Долго стучали ему. С трудом отозвался он на наши голоса.

— Бяда, — вздохнул он, не вынимая носа из воротника кисло пахнущаго бараньяго тулупа... — Слыхать, уже и эти напротив взбунтовались... — Он указал на семеновскія казармы. — Теперь пойдет канитель... бяда!

Мы, прижимаясь друг к другу и ни слова не проронив, поднялись до второго этажа. Электричества не зажигали. Из раскрытых дверей квартиры наверху, в пятом этажѣ, лился яркій свѣт на лѣстницу.

— Мама, — догадалась я.

— Дѣвочки, вы?

— Мы.

— Слава Богу! — воскликнула мама по-армянски, как говорила всегда в минуты крайняго душевнаго волненія.

XLVIII
ХМѢЛЬ

Шли первыя хмѣльныя недѣли улицы... Людям не сидѣлось по квартирам и по присут-

ственным мѣстам... Казалось, туда только забѣгали в перерывах между безчисленными уличными демонстраціями, митингами, бесѣдами, сенсаціонными встрѣчами... Почтенные адвокаты, врачи, артисты, педагоги — всегда до сих пор бывшіе выдержанными, воспитанными петербуржцами — обратились внезапно в школьников без присмотра... и ничуть не стѣснялись своего новаго состоянія. Кучками слонялись они по городу. Шли прямо по мостовой, засыпанной раскисшими в грязном, тающем снѣгу летучками и воззваніями. Привѣтствовали друг друга как то особенно развязно, кричали весело, по-мальчишески «ура» послѣ каждой марсельезы, послѣ каждой бравурной митинговой рѣчи... Нам было непривычно и немного неловко встрѣчать в эти дни наших знакомых, или вообще людей нашей среды... с красными бантами в петлицах, с новой «раскрѣпощенно»-развязной походкой. Выходило так, словно они всю свою жизнь притворялись и обманывали нас, молодежь, своей «взрослостью», разсудительностью и степенностью.

Приходили к нам тетя Варюша с «Тапіокой», и совсѣм мало знакомые нам родители маминых учениц, и сами ученицы, ученики, консерваторы, консерваторки из класса сестер, и студент Знаменскій — всѣ оживленные, по-праздничному, по-«бездѣльническому» болтливые и смѣлые. Никто не стѣснялся забѣжать

«на огонек», забѣжать «передохнуть» и выпить чайку, хотя прежде в нашем скромном домѣ, благодаря маминой занятости, никогда не царило безпорядочнаго гостепрiимства... И это обычно всѣми знакомыми уважалось. Однако нас, молодежь, новая обстановка отчасти и занимала, и развлекала, и даже увлекала.

Труднѣе было понять и принять другое: несмотря на свою побѣду, озабоченно, хищнически настороженно двигались сплоченными лавами толпы людей с фабрик, с заводов, из мастерских. Здѣсь — красные банты уже теряли свой маскарадно-наивный вид. Выраженiе лиц, интонацiи, пѣнье, марш под музыку — не носили характера бездумной веселости, почти распущенности как у интеллигентов. Грубовато, цинично прозвучало, как бы само собою уже облекшееся в нѣкiй призыв, слово «товарищ». И было оно уже не только обращенiем, но и своеобразным паролем между «своими» ребятами.

Эти «ребята» безпокойно искали по чердакам врагов — приставов и городовых, обвиняя их в стрѣльбѣ из пулеметов с крыш домов. Зловѣщими кучками отдѣлялись они от толпы у каждаго подозрительнаго дома. По-хозяйски властно проходили в ворота мимо оторопѣвших растерянных дворников, рыскали по этажам.

В одну из таких экскурсiй, на второй рево-

люціонной недѣлѣ, был убит у нас в домѣ жилец дальняго корпуса, пристав Вахрушин. Настя, возвращаясь из лавки, увидѣла на булыжникѣ пятна крови, разбросанныя пуговицы и куски полицейскаго мундира. Разсказала об этом нам. А вскорѣ, от сосѣдних прислуг я узнала и подробности гибели Вахрушина, заподозрѣннаго в стрѣльбѣ по толпам. С судорожной тошнотой в груди от страха и от отвращенія выслушала я их. Потом долго мучилась жалостью к нему и к его семьѣ, с которой мы восемь лѣт встрѣчались во дворѣ нашего дома... Но все же, признаюсь, страх преодолѣвал жалость.

Убійство мирнаго человѣка было еще в ту пору каким-то невѣроятным, помрачающим разсудок актом жестокости и безобразія.

XLIX
ЭКЗАМЕНЫ

«Лучше не думать, не слушать и не видѣть ничего», — говорила я себѣ потом, чтобы смочь как-то снова войти в нормальную трудовую жизнь. Правда, Татьянинскій комитет был закрыт, в театральной школѣ все еще не проходил угар свободы первых «медовых» дней революціи. Артистическіе темпераменты находили творческій подъем в новом порядкѣ ве-

щей: соблазнительно-привольном, сентиментально-восторженном. Но гимназія, гимназія ждала от меня другого: сосредоточенности, усердія, дисциплины разсудка и воли.

Подходила первая недѣля поста.

Я открыла первую книгу: учебник алгебры.

И заперев дверь своей комнаты на ключ, бросив диванныя подушки на пол, легла на них животом...

Опять, как во времена моей протестующе-вызывающей зубрежки географіи, четыре года тому назад, я осталась одна, «по-своему» разрѣшать вопрос овладѣнія предметом.

Экзамены меня и пугали, и манили,

— Какая ты, однако, «поросятина», — сказала мнѣ однажды добродушным и убѣдительным тоном Тамаринька, — цѣлый день не позволяешь мнѣ входить в комнату, чтобы не мѣшать тебѣ зубрить. А когда я тебѣ вдруг понадоблюсь, — берешь меня за шиворот и нисколько не считаешься с тѣм, занята я в тот момент или свободна, расположена или не расположена тебѣ помогать. Хочешь, не хочешь, иди объяснять тебѣ формулы, или теоремы, или физическіе законы... И вообще ты, по-моему, глупо занимаешься! Учишь сразу по программѣ билет за билетом, а обо всем курсѣ никакого представленія не имѣешь.

— Вот когда пройду постепенно билет за

билетом, — тогда и буду имѣть представленіе о курсѣ, — коротко отвѣтила я.

— Глупо,—опять запротестовала Тамаринька. — Безсистемно. И ничего у тебя не выйдет! Мы же всѣ сначала прошли за год курс, а потом уже укладывали его в программу по билетам!

— Вы учились на ходу, а я должна на скаку, — защищалась я.

Мама была цѣликом на моей сторонѣ. То есть, вѣрнѣе, она не знала, как лучше готовиться к экзаменам, но довѣряла мнѣ до конца и только старалась создать мнѣ такую обстановку, при которой я могла бы легче «по-своему» работать.

С благодарностью принимала я ея чуткую настороженность к моим удобствам, к моим желаніям, и ея вѣру в то, что я ни при каких условіях провалиться не могу... Насколько круто и сурово обрывала она во мнѣ всегда попытки «настоять на своем» из каприза, из явнаго своеволія, — настолько чутко берегла во мнѣ мою немного угловатую, но очень отчетливую индивидуальность.

— Пусть сама рѣшит. Пусть поступит по своему внутреннему убѣжденію. Не мѣшайте ей развивать свою волю, свой вкус, — постоянно слышала я дома из ея уст по моему поводу.

Я понимала, почему она так старалась удержать за мной право на вѣру в себя и в свои

силы; трагически обреченно стоял постоянно в ея сознаніи образ отца, котораго я какими-то сторонами своей хрупкой психики ей напоминала, хотя воля и выдержка у меня все-таки были. И своей материнской любовью она хваталась за эти качества, от нея же самой унаслѣдованныя, чтобы удержать меня от возможности срыва...

— Можешь не мучить себя. Не заставлять себя сдать на высшій балл, как ты мнѣ обѣщала, — сказала мнѣ как-то размягченно и участливо мама, войдя ночью в гостиную, куда я иногда уходила, чтобы не мѣшать спать Тамаркѣ.

— Я так не могу, — отвѣтила я. — Я совсѣм не смогу пойти на экзамен, если вся программа не будет стоять в головѣ, как в раскрытой книгѣ.

Идти «на авось», надѣяться на счастливый случай и, может быть, простоять в безпомощном состояніи с непройденным билетом в руках перед комиссіей — было, дѣйствительно, непереносимо для меня! А главное, этим нарушалась моя, мною самой выстраданная за этот мѣсяц система: система послѣдовательнаго и безукоризненнаго прохожденія без запинки одного билета за другим, которая в своем напряженіи захлопнула в моем сознаніи всѣ другія мысли, впечатлѣнія, воспріятія...

Послѣ первых двух недѣль экзаменов, ко-

торые я сдала на круглое 12 — мама, успокоенная и даже счастливая, расцѣловала меня и простилась со мной. Занятія в консерваторіи прерывались на лѣтніе каникулы. Мама, наняв повара и двух прислуг, уѣзжала в Кисловодск возобновлять свою работу в санаторіи. С ней уѣзжала и Тамаринька. Мы с Лизанькой должны были выѣхать только в іюнѣ.

Невѣроятная сонливость и лѣнь внезапно обуяли меня, когда уже больше половины экзаменов было сдано. Днем меня безпрестанно тянуло на прогулки. Под вечер я заставляла себя сѣсть за ученье. Томными, разслабляющими своим плѣнительным небом, воздухом, ароматами были эти вечера... Я что-то заучивала, что-то соображала, что-то повторяла сквозь усталость и лѣнь... Ночи — мои любимыя бѣлыя ночи Петербурга—были еще истомнѣе... Я лежала часами на подоконникѣ раскрытаго окна и с силой преодолѣвала дремоту. Иногда внезапно нападала на меня такая мечтательность и разсѣянность, что я, будучи не в силах сбросить ее, машинально, как попугай, повторяла и зазубривала разныя скучныя вещи: хронологію, названія хлѣбородных губерній, статистику ввоза и вывоза скота. Так же в полуснѣ запоминала названія планет, комет, выучивала цѣлые отрывки из нѣмецких классических шедевров.

Шла ежечасная борьба... Бодрость приходи-

ла только на самых экзаменах.

Однако, экзамены подходили к концу. Во всяком случаѣ, самые отвѣтственные из них были уже сданы. И когда впереди осталось только два экзамена – по русскому и французскому языку — я окончательно «выдохлась» и облѣнилась. Съѣздила я с портнихой, глуховатой толстухой Гликеріей Семеновной в Гостиный двор, накупила матеріалов на лѣтнія платья.

Лизанька спустя рукава смотрѣла на мое легкомысліе.

— Ну что же, отвлекись на два-три дня от зубрежки, — снисходительно говорила она. Потом она даже помогала нам с Гликеріей Семеновной выбирать фасоны.

Я с увлеченіем обдумывала каждую мелочь. Подолгу простаивала я перед зеркалом, откровенно радовалась своей тоненькой таліи, стройным ногам, своему росту и тому, что платья сидѣли на мнѣ складно, удобно. А главное — радовалась своей юности, легкости в каждом движеніи.

Наступили жаркіе дни и душновато-безвѣтренные вечера. И как потянуло меня вдруг к новым людям, к новым впечатлѣніям, к какой-то небывалой свободѣ, к жизни!... Но к жизни непремѣнно своей, неограниченной никакими условностями, ничьей волей и даже... ничьим примѣром! Слава Богу, ни дома ни в гимназіи никто не замѣчал этого весенняго

«хмѣля» во мнѣ

На экзаменах мнѣ всѣ дружески помогали: и педагоги, и ученицы. Они считали чуть ли не героическими мое трудолюбіе, усердіе, волю. Когда доходила очередь до моего отвѣта — я чувствовала, какіе доброжелательные, подбадривающіе флюиды текли ко мнѣ из класса и с экзаменаціоннаго стола. В душѣ временами появлялась не совсѣм честная мысль: можно, пожалуй, не так уж старательно заниматься — все равно, меня «вытянут» на высшій балл.

L

ВЕСЕННЕЕ ОБРУЧЕНІЕ

Как-то позвонил по телефону Юрик, сказал, что ѣдет на фронт, просил о встрѣчѣ. Я замялась: на завтра был назначен экзамен по французскому языку. Программу я знала недурно. Но, может быть, слѣдовало пройти еще раз послѣдніе билеты? Ну, да ничего, можно за ночь повторить...

— Идите мнѣ навстрѣчу, по Литейному проспекту, по правой сторонѣ. Около магазина Эйлерса встрѣтимся.

Ни одно из новых платьев еще не было готово — такая досада! Но можно было надѣть прошлогоднее, васильковое, если Лизанька одол-

жит свою соломенную шляпу с колосьми и васильками.

Вѣроятно, Юрик вдоволь успѣл налюбоваться цвѣточной выставкой Эйлерса! Я одѣвалась долго, да еще по дорогѣ на свиданье нѣсколько раз останавливалась посмотрѣть на себя в зеркало...

Мы вышли к набережной. Была она теперь правда, погрязнѣе, пошумнѣе прежней. Но как величественно-строга в своей полусказочной царственной перспективѣ была Нева! Пароходики и шлюпки на ней тоже стали грузнѣе, безпорядочнѣе по виду, но и они на извѣстном разстояніи были прелестны в сѣровато-облачных волнах и под таким же сѣровато-облачным небом.

— Я просто влюблена в этот сѣрый, гранитный, облачный колорит Петербурга, — воскликнула я восторженно, потому что восторг за эти недѣли прочно жил у меня в груди и ждал случая прорваться наружу.

— Вот когда будете в Парижѣ — так же влюбитесь в Париж за его особенный сѣроватый блѣдный акварельный колорит, — задумчиво отвѣтил Юрик.

— Вы давно там были?

— За год до войны, пятнадцатилѣтним мальчиком, когда мамѣ захотѣлось провести лѣто в Біаррицѣ. Проѣздом остановились на недѣлю в Парижѣ... Ах, какой он чудесный! Только с

Петербургом могу сравнить величіе, размах набережных и дворцов. Но, конечно, все это в своем родѣ, в своем стилѣ. А вот сѣроватая однотонность рѣки, неба, гранитных берегов, зданій — очень похожа на петербургскую... А потому очень нам сродни.

— Вы думаете, я Париж когда-нибудь увижу? Куда мнѣ! Особенно теперь-то: с революціей, со всякими новыми трудностями...

— Я думаю, увидите... А я уже вряд ли увижу!

— Почему? Вам легче. У вас же есть возможности... Уѣзжайте хоть сейчас всей семьей.

— Нѣт, уж я-то не уѣду. Да сейчас и не время о себѣ думать.

— Да, да, конечно. Я это понимаю. Хорошо, что ѣдете на фронт сейчас... Ну, а потом? Вѣдь война же когда-нибудь кончится?

Юрик похлопал снятой с руки перчаткой по перилам набережной. Помолчал.

— Во первых, с войны еще надо вернуться... — засмѣялся он вдруг беззаботно и легкомысленно, как прежде, — А во-вторых, нельзя идти добровольцем на войну... с желаніем непремѣнно вернуться. Это неправильно... да и вообще, не суть важно...

LI

В ВОСПОМИНАНІЯХ И МЕЧТАХ...

Послѣдніе восемь билетов по французской литературѣ так и остались неповторенными за ночь...

Правда, я сдѣлала с вечера честную попытку их просмотрѣть. Сѣла за стол, зажгла лампу под пестрым картонным абажуром, положила перед собой программу, конспект, учебник, начала читать... и очнулась уже ранним утром! Занавѣска у раскрытаго окна, взметнувшись от легкаго вѣтерка, защекотала мою щеку и плавным движеніем назад унесла на подоконник зашелестѣвшій листок конспекта. Я вздрогнула и вскочила. «Развѣ я спала? Нѣт, как будто и не спала! Всю ночь вспоминала, и во всѣх деталях повторяла что то... но только не французскую литературу. Как неожиданно, рѣшительно и довѣрчиво попросил Юрик моей руки! Как дѣловито и толково разсказал, как мы поѣдем сейчас же послѣ вѣнчанья в Біарриц, остановимся на виллѣ у сестры «генерала»...

— Мы все это с генералом уже обдумали,— сказал он, в конец огорошив меня этим признаніем — Но, конечно, все это в том случаѣ, если я вернусь жив и невредим с войны и если генерал не потеряет в революціи своих капиталов. Не выходить же вам замуж за инвалида или нищаго. Об этом тоже отец подсказал мнѣ

предупредить вас.

— Я сама-то и в революціи и без всякой революціи безприданница, — засмѣялась я.

- Это другое дѣло... Я только должен навѣрное знать, что вы не отказываете мнѣ. Отец сам поговорит этим лѣтом с Анной Петровной.

Тут только я вспомнила, что я, собственно говоря, ни на что не соглашалась и ни от чего не отказалась... А надо же было что-то отвѣтить!

Почему-то бросилась мнѣ в глаза особенно аккуратная линія свѣтлых, гладко зачесанных волос Юрика над висками, за ушами, над воротником новенькаго военнаго кителя и едва замѣтныя веснушки на щеках...

— Неужели его убьют? Изуродуют? — едва сдерживая слезы от умиленія, подумала я.

И неожиданно для самой себя, со всѣм пылом внезапной мечтательной жертвенности, и хотя бы скромнаго, но все же героизма, сказала:

— Если вас превратят в инвалида, или если папа потеряет капиталы — вот тогда-то я непремѣнно и выйду за вас замуж!

И ускорила шаги, по направленію и дому.

Мы довольно долго шли молча.

— Вот тебѣ и задача! — вдруг весело сказал Юрик. — Значит, иди и желай себѣ по крайней мѣрѣ оторваннаго уха, или ампутированной ноги!

— Перестаньте, перестаньте, еще накличете

себѣ бѣду, — перебила я его.

— Да выходит так, это хочешь, не хочешь, а... кличь, — еще веселѣе сказал Юрик и взял меня за руку. — Ну, увидим.

Вот что составляло всю ночь содержаніе моего ума и моего сердца... А вовсе не сон! Или, вѣрнѣе, сон пришел только под утро, и то, не отрывая меня до конца от радостнаго волненія, от размягченно-умиленнаго состоянія души перед чѣм-то крупным, рѣшительным, трогательным и прекрасным, что встало на моем пути.

— Развѣ я его люблю? — спрашивала я себя. — Почему же я до сегодняшняго дня о нем не думала, никогда его особенно не любила, не хотѣла видѣть рядом? Ах, не знаю, но что-то прекрасное, вдохновенное я почувствовала очень реально... И теперь жизнь без него будет такой скучной, бѣдной, куцой.

Помнится, что я нѣсколько раз принималась за злополучные билеты, но они-то и стали казаться особенно скучными, куцыми... Я упала щекой на книгу и чуть не обняла в забытьѣ весь столик скрещенными над головой руками. Дремала и видѣла, как Юрик сидит сейчас в кабинетѣ у генерала в кожаном креслѣ у окна. Генерал мелкими шагами бѣгает по скользкому паркету и развивает перед сыном план устройства его будущей жизни заграницей послѣ женитьбы. Юрик, вѣроятно, молчит, только улыбается своими сѣрыми, «продолговатыми», сла-

вянскими глазами и играет пальцами по ручкѣ кресла.

— Вѣрит, или не вѣрит в свое возвращенiе с фронта?—стралась я догадаться, как будто вглядываясь в его лицо при этой воображаемой мною сценѣ. — У него не поймешь! Генерал давно бы сболтнул о своих переживанiях, предучувствiях, догадках. Юрик смолчит. Будет отшучиваться... из душевной скромности. А, может быть, из чувства собственнаго достоинства? — уже почти влюбленно прибавила я.

Настя пришла будить меня. Я взглянула на програму. Плохо. Так еще ни разу не шла на экзамены!

* * *

И тут случилось то, чего я всегда боялась прежде. Я вытащила неудачно билет: с конца програмы. Monsieur Lemercier с испугом посмотрѣл на меня, когда я, постояв минуту, стараясь напрячь мысли, вдруг отказалась от всяких усилiй и спокойно положила билет на стол.

— Je suis incapable de vous repondre a ces questions, monsieur,* — обреченно сказала я.

Француз заволновался. Попросил меня подумать хорошенько, посидѣть в сторонкѣ, успокоиться, — только не отказываться от билета. За этот категорическiй отказ онъ был принужден сразу сбавить мнѣ два балла, даже если по

* Я не в состоянiи отвѣтить на эти вопросы.

остальным билетам я отвѣчу блестяще. Я покорно взяла назад билет, отошла в сторонку. Что-то мелькало в головѣ, но так неотчетливо, что я едва цѣплялась за какія-то имена, характеристики...

— Лучше сразу отказаться, чѣм отвѣтить глупо и несвязно, — рѣшила я и вернулась с тѣм же заявленіем, что и вначалѣ, к экзаменаціонному столу.

Дѣлать было нечего. Мнѣ предложили новые билеты.

Оба были из разбора произведеній Мольера. Я отвѣтила без запинки, на приличном гладком французском языкѣ, и получила одобреніе всей комиссіи.

Но... дѣло было уже испорчено. Послѣдній экзамен был единственным, принесшим мнѣ только 10 баллов (вмѣсто обычных 12-ти).

Я сама не ожидала, что это заставит меня всплакнуть втихомолку в раздѣвальнѣ...

LII

ЗРѢЛЫЙ КОЛОС

Дома, на лѣстницѣ, я не сразу поднялась в квартиру... Нѣсколько раз останавливалась на площадках, вздыхала, отирала глаза, уговаривала, утѣшала сама себя, как могла. Потом, рѣшительно сказала себѣ: «сама виновата! раскис-

ла напослѣдок! а теперь поздно горевать» и побѣжала через двѣ ступеньки наверх. Не терпѣлось мнѣ скорѣе признаться в своем горѣ Лизанькѣ, Настѣ, чтобы оно осталось уже совсѣм позади и чтобы можно было поменьше о нем думать и говорить.

На этот раз Настя не сразу поспѣшила на мой звонок. Я дернула еще и за мѣдную ручку стѣнного колольчика,—выходило убѣдительнѣе и настойчивѣе, чѣм звонить только в электрическій звонок. За дверью послышались чужіе неторопливые шаги, непривычное, неумѣлое движенье ключом. Сухенькая, пожилая женщина в темном платкѣ открыла мнѣ дверь.

— Что? Я не домой попала, что ли? Ошиблась этажом? Или это все во снѣ? — подумала я сразу на нѣсколько ладов и неувѣренно вошла в переднюю. Однако, передняя была наша, с грудой приготовленных на лѣто мебельных чехлов в углу, с большим овальным зеркалом над черным ломберным столиком. Сухенькая женщина улыбнулась мнѣ узкими синезатыми губами и низко поклонилась.

— Сестра Евдокіюшка! — вскрикнула я. — Это вы?

— Я, барышня.

— Как вы здѣсь?

— Пришла, барышня, прощаться. Настя тут на минутку в лавку побѣжала, да, вѣрно, задержалась. Я и осталась за нее услужать.

— А Лизаньки нѣту дома!

— Никого, барышня, нѣту...

Я провела ее в столовую. Она постѣснялась сѣсть и остановилась в дверях, сложив на груди руки и слегка опустив голову.

— Я не узнала вас, когда вошла.

— Меня трудна узнать. Похудала.

— Вы больны?

— Да, Господь посѣтил болѣзнью...

— Какая же у вас болѣзнь?

— А такая... безутѣшительная, конечная...

— Это что же значит? — удивилась я витіеватости ея рѣчи при полном смиреніи в голосѣ.

— Рак у меня признали.

— Ох, Господи! — испуганно воскликнула я.

Сестра Евдокіюшка виновато улыбнулась.

— А вы, барышня, из гимназіи пришли? — спросила она, явно желая перемѣнить разговор.

— Да, послѣдній экзамен сдала.

— Ну и слава Тебѣ, Господи! — перекрестилась она. — Господь разуму дал.

— Да я сегодня не очень то довольна собой...

— Что так? Развѣ неудачно? Не выдержали?

— Нѣт, выдержала, конечно, — я замялась. (Стоит ли ей говорить о таких подробностях? Да и вообще, не стыдно ли горевать из-за... 10 баллов? Вон она, Евдокіюшка, как дѣловито спросила: выдержали, или нѣт? И правильно. Все остально чушь, поганое самолюбіе, тщесла-

віе... Прямо стыдно!).

— Не пойму я, — тихо отозвалась монашка.

— И не надо ничего понимать. Вы что сейчас дѣлали, когда я позвонила?

— Кофій на кухнѣ пила.

— Я пойду с вами вмѣстѣ кофе пить на кухнѣ, — сказала я.

На кухнѣ я сняла с полки Настину пеструю фаянсовую кружку без блюдечка, налила себѣ жиденькаго кофе, поискала на окнѣ молока и, не найдя его, сѣла против монашки на табурет. На столѣ в синей, грубо-граненой, дешевой вазочкѣ лежали кривенькіе, острые куски колотаго сахару и сухари из ситнаго хлѣба с изюмом.

Глаз не могла я оторвать от монашки... Что было в ней новаго, кромѣ ея болѣзненной, почти безобразной худобы? А что-то было! И было оно облагораживающим, украшающим ея прежде нѣсколько притворно-смиренное лицо... Поклоны, тихая, плавная рѣчь, опущенные глаза, строго поджатыя губы — все, что прежде было только внѣшней формой, принятой в соотвѣтствіи с монашеским чином — казались теперь оправданными подлинным внутренним содержаніем. Евдокіюшка внимательно прислушивалась к чему-то внутри ея происходящему, и с осторожностью, с душевным цѣломудріем воспринимала то, что происходило внѣ ея. И теперь было совсѣм невозможно услышать из

ея уст оживленную, бойкую рѣчь, пересуды, притворные вздохи.

Что же стало теперь ея внутренним содержаніем? Тяжелое изживаніе физических страданій? Подавленность? Страх перед концом? — Нѣт. Ни подавленности. ни страха я не замѣтила вовсе. Наоборот! Какое-то мирное раскрѣпощеніе, почти радость свѣтились временами в ея глазах, слышались в рѣчи... Словно жила она в трудном и цѣломудренно-одиноком ожиданіи своего, Евдокіюшкинаго, торжественнаго и радостнаго праздника.

Я заговорила с ней о том, что творилось кругом, спросила, как она относится к революціи.

Евдокіюшка вскинула глаза на образ в углу. Помолчала. Потом сокрушенно отвѣтила:

— У Помазанника престол отнимать никак нельзя! Весь народ за такое дѣло перед Господом отвѣтит: и в нынѣшнем и в будущем вѣкѣ. Святые угодники Божіи так и предсказывали Россіи: голод, кровь. и смертей полно! Помазанник! А чей Помазанник-то? От человѣков? Нѣт, от Бога. Того в Думѣ-то не «додумали». А «одуматься» тоже опоздали. Бѣда...

И, не глядя на меня, Евдокіюшка принялась накалывать щипчиками и аккуратной горкой складывать на блюдечко сахар. Я с испугом замѣтила желтыя, глянцевитыя пятна на ея ви-

сках, как у покойницы.

— Сестра Евдокiюшка, вы лѣчиться прiѣхали из Валдая?

— Как изволите? — встрепенулась она от своей задумчивости, как ото сна, и быстро натянула платок на лоб и на виски.

— Я спрашиваю, вы лѣчиться сюда прiѣхали?

— Нѣт, лѣчиться нельзя... Доктора рак признали, как я уже говорила вам.

— Может быть, операцiю можно?

— Нѣт, и операцiя безуспѣшная будет, — засмѣялась монашка.

— Ну, так как же?

— А так... Я теперь в послѣднiй раз по сбору отправилась. Матушка благословила. Вот соберу, что добрым людям Бог на сердце положит для обители, да и домой. Там уж долежу до своего часу. А облегчаться докторами, да лѣченiем, да уходом разным теперь и хорошим-то людям затруднительно! А куда уж нам-то, худым монахам... Так, кое-чего попрiятнѣе можно: полежать, да пищу полегче покушать. Ну, да все в мѣру, без большого упованiя на земные способы и утѣшенiя.

Она опять засмѣялась, растянув сухенькiя синеватыя губы и тут же виновато подобрав их в комочек.

— А я, милая, вас о чем-то попрошу: еще кофiю мнѣ погорячѣе в чашечку налейте. Вот,

видите, какая мнѣ привилегія? Была бы здоровая, не просила бы господ мнѣ услужать. А как больная, так и разбаловалась: встань, да налей, да подай мнѣ!

Евдокіюшку я оставила ночевать у нас в домѣ. Утром, чуть ли не на разсвѣтѣ я проснулась от осторожнаго поскрипыванья двери.

— В чем дѣло, Настя? — спросила я, не подымая головы.

— Простите, сестрица, это я... Думаю, ежели не спите, прощусь. Уходить пора. Да дверь-то с музыкой, разбудила вас, — виновато отвѣтила из коридора монашка.

— Входите, входите.

Мы обнялись и три раза поцѣловались с ней.

— Оставайся с Господом, милуша моя, — неожиданно сказала монашка с той интимностью и простотой, какой я никогда не слышала от нея.

— Лизаньку будить не надо. Поцѣлуй за меня и ее и Тамариньку, когда свидитесь. А мамашѣ... — тут Евдокіюшка отошла на шаг от кровати и низко поклонилась.

Я еще раз, на прощанье, поцѣловала ея худенькія, желтыя щеки.

LIII

В СИНОДАЛЬНОМ ДОМѢ

Билеты в Кисловодск были уже взяты. День отъѣзда приближался. В ожиданіи его я кружилась по уже замѣтно пустѣвшему, лѣтнему Петербургу, как птица. (Надо сказать, ни дома, ни в гимназіи, ни на курсах мы так и не пріучились называть Петербург Петроградом, несмотря на его офиціальное переименованіе еще три года тому назад). Побывала с Катей Вилкиной в Зоологическом и в Ботаническом саду; нѣсколько раз съѣздила с Вѣрой Павловной Савич, все на том же синеньком автомобильчикѣ, прямиком через Троицкій мост, по Каменноостровскому проспекту с его очаровательной перспективой, — на острова; каталась на ботикѣ по Невѣ...

До чего хорошо, весело, интересно, легко казалось жить — я и выразить не могла! Читать газеты — не хотѣлось. Вѣсти с фронта я выслушивала весьма поверхностно. Недохваток в продуктах, если и обсуждался дома Настей — меня мало заботил. Я каждый день заказывала на кухнѣ рисовую кашу, запеченную с сахаром в духовкѣ, и салат из мелких, хрустких, свѣтлозеленых огурцов с уличнаго лотка. Остальное мнѣ было безразлично. Послѣ трех или четырех дней моего вмѣшательства в ку-

хонныя дѣла, Лизанька и Настя сговорились вовсе не слушать меня.

Из серьезных и отвѣтственных впечатлѣній за эти дни было только одно: мой визит в квартиру отца Іакова в синодальном домѣ на Литейном проспектѣ.

Несмотря на всю восторженную, юную разсѣянность тѣх дней — я чувствовала, что мнѣ нельзя не проститься, вѣрнѣе, нельзя не поблагодарить на прощанье батюшку за его ласку и доброту ко мнѣ. Я всегда чувствовала: пока батюшка Іаков вблизи меня — я не запутаюсь окончательно в безчисленных сомнѣніях, противорѣчіях и трудностях моего душевнаго и умственнаго хозяйства. Стоит сказать ему — он позовет к себѣ, подбодрит, направит... Эта увѣренность не раз спасала меня от уныния и отчаянья в борьбѣ с моими тревожными религіозными и жизненными блужданьями. Правда, я так ни разу и не собралась к нему. Но теперь, надо было пойти поблагодарить и... кое-о-чем, «впрок», на случай новых блужданій, спросить.

Я выбрала воскресный полдень, надѣясь послѣ обѣдни застать его дома. Но к батюшкѣ меня не пустили.

На звонок вышла блѣдная, измученная, окруженная шумливыми, бѣдно и неопрятно одѣтыми дѣтьми, матушка. Пересыпая рѣчь окриками, уговорами, подзатыльниками своим без-

покойным мальчуганам, она разсказала мнѣ про болѣзнь отца Іакова. Мучительно переживал он новый приступ водянки, почти все время находясь в забытіи. Только изрѣдка, с напряженіем узнавал он близких и говорил с ними.

— Скажите батюшкѣ, когда ему станет лучше, что к нему приходила одна из окончивших учениц гимназіи... поблагодарить его и попросить благословенія, — с трудом произнесла я, чувствуя, что моя природная слезливость уже рада случаю проявить себя.

— А фамилія как?

— Фамилія? Он, вѣроятно, по фамиліи меня не вспомнит. Скажите, гимназистка-армянка... Экзамены выпускные экстерном держала. Так он непремѣнно догадается, — заторопилась объяснить я. (А сама с огорченіем подумала, что если бы не стыдно было мнѣ про себя сказать: «ярмяночка», то сразу все стало бы ему ясно).

Матушка улыбнулась мнѣ такой женственно мягкой улыбкой, что ея почти безкровное, унылое, немолодое лицо показалось мнѣ прелестным.

— Скажу, скажу. Ничего, в другой раз приходите... Вѣдь у меня и фортепіано есть, — вдруг оживилась она. — Я в молодости сама играла и даже уроки чужим дѣтям давала. А теперь-то уж все забыла. И сама-то на чучело похожа стала! Батя у меня болѣет. А когда

и здоров, — так тоже все равно что больной, — довѣрчиво прибавила она. — Вы, вѣдь и сами-то всѣ в гимназіи знаете... — матушка сокрушенно покачала головой.

Дверь из кухни в переднюю отворилась. В ней показалась приземистая, некрасивая дѣвушка — босая, в неряшливо подоткнутом сбоку платьѣ, в длинном грязном передникѣ. Она издала какой-то гортанный звук и показала пальцами цифру 7.

— Ну, хорошо, хорошо, возьми хоть семь штук, — поспѣшно отвѣтила ей матушка, нѣсколько раз кивнув головой.

Глухонѣмая скрылась. Я пожала матушкѣ руку и с чувством облегченія вышла на лѣстницу.

Здѣсь я в смущеніи и в задумчивости постояла нѣсколько минут у окна Внизу хлопнула дверь. Кто-то, напѣвая, вѣрнѣе, мурлыча, стал не спѣша подыматься по лѣстницѣ. Зазвенѣли вынимаемые на ходу из кармана привычным жестом ключи. Я быстро отерла глаза и осторожно, стараясь не обратить на себя вниманіе встрѣчнаго, наклонив голову, пошла вдоль стѣнки вниз.

Однако, на площадкѣ встрѣчная фигура разом остановилась, как вкопанная.

— Вам здѣсь что угодно, сударыня? обрадованно и удивленно воскликнул знакомый голос — Это что за путешествіе?

Передо мной стоял Сумароков.

— А вы здѣсь зачѣм? — задорно отвѣтила я встрѣчным вопросом.

— То есть, как это зачѣм? Я здѣсь третій год живу у замужней сестры. Извините, виноват.

Я не знала. Я пришла к отцу Іакову проститься.

— Он, бѣдняга, хворает, — разом мѣняя тон, подхватил Сумароков.

— Да. И меня к нему не пустили.

— Вы этим очень огорчены?

— И этим огорчена, и вообще всѣм, что у него в домѣ... Душно, тѣсно, дѣти вопят, бѣднота, и эта глухонѣмая дѣвушка на кухнѣ такая страшная! Уродливо и тяжело живут, — шопотом разсказала я, боясь быть услышанной сверху.

— Да, это вѣрно.

Мы помолчали. Я отвернулась, желая скрыть свои кривившіяся губы, набухавшіе глаза, — но ничего не помогало; слезы уже катились по краям носа и мнѣ оставалось только подхватывать их в комочек платка.

Вот я всегда такая дура, — тихо призналась я.

— Это, mademoiselle, у святых отцов называется слезным даром, — шутливо и вмѣстѣ с тѣм наставительно сказал Сумароков, — а вы говорите — «такая дура»... Даже повторять неловко

Я засмѣялась.

— Вы сколько времени ассигновали на визит к отцу Іакову?

— Ну, не знаю... сколько бы он захотѣл. Я до обѣда свободна.

— Тогда подымитесь ко мнѣ! Посидите со мной. Отца Іакова я вам, конечно, не замѣню, но мнѣ вы большую радость доставите, а, может быть, и я вам что-нибудь на пользу скажу... Или я для вас совсѣм непригоден?

Что вы! Я вѣдь вас очень люблю, — честно призналась я. Вы были самым симпатичным, самым умным из учителей... Да и вообще из всѣх моих знакомых.

— Ну, вот видали, что дѣвица отмочила вдруг! — опять комически воскликнул Сумароков. Но краска удовольствія и смущенія залила его добродушное лицо. — Идем наверх, сестра очень довольна будет. И пообѣдать тоже у нас можете. Она у меня хозяйка не из послѣдних. Только вы, вѣрно, обѣдаете в семь часов вечера... по-бюрократически, по-петербургски? А мы, — в два... по-семинарски.

LIV

ИЗМѢНА ПРОШЛОМУ

Наканунѣ отъѣзда, в душный предгрозовый вечер петербугскаго лѣта, в нетемнѣющих бѣ-

лесовато-облачных сумерках, бродила я одна по улицам.

Вышла со стороны Фонтанки к Лѣтнему саду, прошла по главной аллеѣ два раза, и тут мнѣ впервые многое показалось чужим, непріятно измѣнившимся, даже оскорбляющим что-то въ душѣ...

Меня и прежде мама не пустила бы под вечер одну в Лѣтній сад: была за ним репутація соблазнительнаго легкомыслія в эти часы для молодежи. Рискнула я зайти теперь только потому, что послѣ встрѣчи с Сумароковым и откровеннаго разговора с ним кое-что измѣнилось в моем настроеніи. Беззаботное состояніе весенняго дурмана, которое пришло ко мнѣ послѣ освобожденія от всѣх обязанностей, от всякаго напряженія ума и воли, стало исчезать. Я очень реально ощутила в себѣ необходимость проститься с Петербургом. Минутами это ощущеніе приходило, как очень точное предчувствіе разлуки с ним навсегда Минутами же оно приходило только как желаніе еще раз увидѣть его до встрѣчи с ним осенью. И, правда, никакія внѣшнія обстоятельства не оправдывали перваго состоянія неутѣшительных предчувствій. Как и обычно, я уѣзжала на лѣтнія каникулы на Кавказ с тѣм, чтобы в августѣ вернуться домой. Осенью меня ждала работа на драматических курсах. За лѣто я должна была обдумать и подготовить нѣсколько трудных

классических отрывков.

Но как бы то ни было, мое настроеніе последней недѣли, моя жажда «порхать» по Петербургу превратились в нѣчто иное: как можно обстоятельнѣе обойти, оглядѣть любимыя мѣста, чтобы, если Богу будет угодно, на всю жизнь запечатлѣть их в душѣ в этом благодарном любованіи.

Вот почему я и рѣшилась пойти одна в Лѣтній сад.

На главной аллеѣ было шумно и безпорядочно-разгульно для нормальной петербургской толпы. Античныя статуи по краям аллеи казались теперь совсѣм ненужными, нелѣпыми на общем колоритѣ грязноватой, грубоватой публики, которая с обидной развязностью разглядывала их, сидя на скамейках с бутылками лимонада и сельтерской на колѣнях. Трава за низенькой оградой была примята, мѣстами усыпана шелухой сѣмячек, пыльных кокосовых орѣшков, продававшихся тут же лотошниками.

Такого Лѣтняго сада Петербург еще не знал. Недаром испуганно-недоумѣвающими показались мнѣ античныя статуи, словно хотѣли онѣ укрыться в зелени от того, чему стали свидѣтелями теперь...

Из Лѣтняго сада я убѣжала с болью в душѣ, и пожалѣла, что была она только болью оскорбленія, а не умиленнаго прощанья с тѣм, что сердцу мило.

Налетѣл легкій предгрозовый вѣтерок, поднял пыль на плохо выметеной, мягкой под ногами, мостовой... Подкрашенная женщина в шарфикѣ, с серебряным браслетом под локтем грязноватой, по-лѣтнему обнаженной руки, остановила меня, чуть не уперев мнѣ в грудь огромный букет сирени.

— Вот вы, гражданочка, уже непремѣнно цвѣтов у меня купите, -- рѣшительно произнесла она. И, не давая мнѣ пройти, отцѣпила мнѣ от букета добрую половину уже слишком поздней, слишком размягченной и пряной, но все же роскошной сирени.

Таких цвѣточниц я тоже еще не встрѣчала у нас на улицѣ... Но отказать не сумѣла и, не сопротивляясь, даже не торгуясь, купила сирень.

На Литейном проспектѣ я сѣла в трамвай и поѣхала мимо нашего дома на Кирочной к Таврическому саду.

LV

ДОБРЫЙ КОЛДУН ИЗ МОЕГО ДѢТСТВА

С волненіем подходила я к воротам сада. Во всѣ дни моего дѣтства открывали мнѣ онѣ вход в фантастическій мірок с ледяной горкой, с рыжебородым сторожем-колдуном, с обледенѣвшими фонариками в зимніе ранніе сумерки,

с духовой музыкой на каткѣ. Смѣлая, здоровенькая дѣтвора в заячьих, медвѣжьих, бѣличьих шубках, гимназистки в отороченных сѣрым барашком шапках с наушниками, с такими же сѣренькими теплыми муфтами на шнуркѣ через голову — весело, рѣзво, но чинно, под бдительным присмотром гувернанток, нянюшек, сторожей сада, кружились по залитому свѣтом льду. Я готова была бы часами любоваться на них с темнаго мостика, прижавшись к деревянным перилам, замерзая, но не сдаваясь.

А весной? Пронзительно, безпокойно кричали вороны на тающем по лужайкам сада, по склонам извилистой рѣчки снѣгу. Я медленно ступала со спущенным с головы на шею бѣлым башлыком, постукивая лопаткой и метлой по дощатому помосту среди почернѣвших, мокрых, кое-гдѣ посыпанных песком аллей. И вдруг с радостным криком бросалась с помоста на лужайку, разгребала гдѣ-нибудь разбухшій снѣг и... прелестныя, желтенькія скромныя чашечки первых палевых цвѣтков появлялись перед моим взором.

В лѣтнюю пору мнѣ не приходилось бывать в Таврическом саду. Осенью же он был так прекрасен, так величественно грустен, несмотря на яркіе золотые и пунцовые пожары в зелени дубов и рябины, — что я почти не играла в эту пору с дѣтьми, не болтала с Тамаринькой и Нешей. Мы тихо обходили самые

дальніе уголки, подбирали опавшіе листья. Потом, на скамейках расправляли их, и с плоскими, звѣздообразными букетами возвращались домой.

Таким знала и помнила я Таврическій сад...

Теперь я нашла его запущенным, буйно-зеленым, почти безлюдным и мечтательно-спокойным, несмотря на пронзительное чириканье, пѣнье и перепархиванье растревоженных приближающейся грозой птиц.

— Скоро запирать будем, — обогнав меня на аллеѣ, буркнул все тот же рыжебородый сторож с огромной медалью на груди. (Он, конечно, не мог узнать во мнѣ дѣвочку в красной шубкѣ, которую он столько раз подымал на руки и сажал в плюшевыя санки, перед их стремительным полетом с горки, вниз по ледяной, волнистой дорогѣ, чуть ли не в пропасть!).

— Ничего, я скоро вернусь, — отвѣтила я ему вслѣд.

На дѣтской площадкѣ нѣсколько мальчуганов доканчивали сраженіе в окопах. Свистки, улюлюканье, крики «ура» — спугнули меня. Я свернула в боковыя аллейки, обошла, вѣрнѣе, обѣжала самыя знакомыя, самыя дорогія по воспоминаніям мѣста.

— Непремѣнно буду приходить сюда по утрам учить роли, когда вернусь из Кисловодска в серединѣ августа, — сказала себѣ я. И тут же подумала, что невольно хитрю с собой.

Не лучше ли вмѣсто надежд на август поклониться сейчас до земли и дѣтской площадкѣ, и зеленѣющей вдали горкѣ, и хижинкѣ сторожа, и самому ему — доброму колдуну из моего дѣтства, и... уйти с этой сладостной умиленной болью от разлуки с ничѣм не обманувшим, ничѣм не оскорбившим меня Таврическим садом. Медленно пошла я к выходу. На мосту вблизи хижинки «колдуна» я остановилась. Еще раз оглянула все, что еще не было скрыто от меня измѣнившейся с моста перспективой.

У ворот «колдун», переминаясь с ноги на ногу, нетерпѣливо громыхал ключами на цѣпи, переброшенной, как четки, через руку.

— Иду, иду, — успокоила его я.

— Вон что, барышня, надвигается, я поэтому, — как бы оправдываясь, сказал он мнѣ и показал глазами на быстро темнѣвшее небо. — Домой до грозы успѣете?

— Нѣт, не успѣю, — спокойно отвѣтила я. — Развѣ, если извощика встрѣчу.

Старик покачал головой.

Когда ключ повернулся в тяжелом замкѣ, я, уже стоя по другую сторону ограды, неожиданно низко поклонилась старику.

— Спасибо, — прибавила я еще к поклону растроганно и тихо.

— Не за что, — отвѣтил мнѣ старик в нѣ-

котором недоумѣніи и, тревожно глядя на небо, прошел к своей «колдуновой» хаткѣ.

LVI

РУССКІЙ УЧИТЕЛЬ

«Вот какая трудная мнѣ выпала задача: написать сочиненіе и представить его на благосклонный (или... не очень благосклонный?) суд моей же ученицы! Ну, что подѣлаешь! Связан обѣщаньем! И при каких необычайных обстоятельствах было дано мною такое обѣщанье!

Я попробую напомнить Вам сейчас, как это произошло.

Сѣло на подоконникѣ против письменнаго стола в моем кабинетѣ молоденькое существо, вытянув худенькія руки на колѣнях. Глядя куда-то поверх меня, даже поверх моих шкафов с книгами, взволнованно и довѣрчиво, как на духу, стало оно мнѣ разсказывать свою жизнь...

Так вот, значит, как все было по порядку. Было дѣтство, чуть-чуть призрачное, благодаря особенной манерѣ дѣвочки жить, затаив дыханье, приложив палец к губам: «Тс-с! Слушайте, смотрите, осязайте, обоняйте, любуйтесь, радуйтесь, и не расплещите свою радость». Приходит она — эта радость — и на прогулкѣ с Нешей в Таврическом саду под снѣжной сѣткой, мягко спадающей с темнаго неба; и в кро-

шечном жарко натопленном магазинѣ знакомаго старичка на Воскресенской улицѣ; и лѣтом, в деревнѣ Турово у живописнаго мирнаго озера; и в уютѣ поѣзда, когда не знаешь что милѣе: уснуть ли под равномѣрный, убаюкивающій стук колес, или с наслажденіем настороженно прислушиваться всю ночь к нему... Такая же задача и со сказками в дѣтской: хорошо бы слушать их, не упустив из вниманья ни одного образа, ни одного слова, — не переставая вмѣстѣ с тѣм явственно слышать тиканье часов и потрескиваніе березовых дров в печи, перед которой сидишь на плетеном зеленом диванчикѣ!? Словом, никак не рѣшить, что лучше: сказки, пѣсни, сны, — или тот уют, тот отрадный быт, в котором живешь?

И, слава Богу, дѣвочка выбора и не дѣлает! Она сочетает вымысел с дѣйствительностью и всему радуется. Радуется, даже, кажется, своим болѣзням, которыя тоже дают свой уют и свой особый колорит ея жизни в дѣтской...

Узнал я и про важнаго, молчаливаго дѣдушку армянскаго — московскаго богача, про его патріархальный дом, про стук янтарных четок во время вечерних молитв в роскошной темной залѣ. Узнал про дѣтскіе театры, елки, праздники. И еще про нѣжную любовь к Нешѣ и про чудесную, освѣтившую все дѣтство, дружбу с отцом. И тут же услышал о первой большой, настоящей драмѣ: о болѣзни отца, потерѣ

радостной дружбы с ним и о наступившей вскорѣ разлукѣ на цѣлые годы.

Вслѣд за этой разлукой — разлука и с Нешей.

Но всѣ эти бѣды еще не разоряют душевнаго строя. Он остается прежним и в радостях и в печалях. (По-моему, это и правильно: никакія испытанія никогда внутренней гармоніи не разорят! Только были бы онѣ чисты, глубоки, рождены самой жизнью, а не нашей, распущенной, или злой волей).

Потом — гимназія, отец Іаков, подруги, литературный кружок, новыя дружбы, увлеченіе театром. И — главное: совершенно явное осознаніе здѣсь своих способностей к языкам, к литературѣ, к драмѣ, к музыкѣ! Начальство, педагоги, подруги и не скрывают этого. Только мама замалчивает, или старается сдерживать обнаруженіе этих разнообразных дарованій своей дочки. Умница мама! Передайте ей низкій поклон от меня.

Таланты, мой милый друг, не нам принадлежат, а Богу. И даются они нам только в пожизненное пользовованіе. Наше дѣло сдѣлать из них что-нибудь доброе, или злое. Поэтому никакого превосходства над другими одаренный человѣк ощущать и не должен. А отвѣтственность он несет большую. Наг и бѣден, без всяких дарованій предстанет он пред Господом, да еще, пожалуй, и многим «бездарным» должен

будет уступить дорогу. И в самом дѣлѣ: много ли другого, кромѣ гордости, тщеславія, корысти, уничиженія ближняго, дерзости, человѣкоугодничества, самомнѣнія принесет он в отвѣт на дарованные ему таланты?

Я Вам еще скажу: уважать в себѣ таланты, развивать, обрабатывать их — необходимо, потому что они дар Божій. Но себя самого за них уважать — глупо, смѣшно и грѣшно! Извольте запомнить это на всю жизнь.

Так вот, поступив в гимназію, проучившись в ней нѣсколько лѣт, дѣвочка так повзрослѣла, что стала пускаться в разныя философствованія. А тут еще война подоспѣла, злую нищету у солдаток — хотя бы на той же Вульфовой улицѣ — обнаружила, суету, безпорядок, озлобленіе в городѣ, страданія в лазаретах! Гдѣ уж тут к жизни прислушиваться с пальчиком у дѣтских губ, с настороженно-любовным: тс-с!... Груба и страшна жизнь. Вспомнила дѣвочка про студента-толстовца, близорукаго «умника». Нѣт, не даст удовлетворенія его идеологія, его міровоззрѣнье... И правильно! Спѣсь в смиреніи (жуткій парадокс!) к истинѣ не приведет и ничего не объяснит, как не объяснила она ничего и самому Толстому — пусть надѣленному и громадным талантом и умом. К полной растерянности привела она его под конец жизни. Пожалѣем, убоимся и... с сокрушеніем сердечным пройдем мимо.

Однако, есть же и такіе люди, у которых ничто не вызовет разлада в душѣ, разстройства в умѣ! Возлѣ них спасались, спасаются и будут спасаться тысячи других! Надо поискать, гдѣ пролегают пути этих людей! Но... «искать путей» одиноко и вполнѣ самостоятельно дѣвочкѣ в тринадцать, четырнадцать или пятнадцать лѣт весьма затруднительно!

Схватилась за Евангеліе и апостольскія посланія, а там: «дружба с міром есть вражда против Бога», «не любите міра, ни того что в мірѣ».

Опять тревога, боль и печаль. «Развѣ мір так плох? Развѣ могу я, четырнадцатилѣтняя дѣвочка-подросток, всегда немного влюбленная в мір, отвернуться от него?»

Ох, бѣда какая! Тут, если злая сила поспѣет, то сумѣет так разстроить ум и сердце, что к очень страшным вещам подведет — вплоть до самоубійства!

Сколько честной, вдумчивой молодежи погибало в мірѣ с отчаянья, из-за невозможности разрѣшить «проклятые вопросы». Страшнѣе всего здѣсь — вопрос религіозных сомнѣній. Но вот я Вам что скажу: тот христіанин, который мучается вопросом существованія Господа Бога и жизни за гробом, страдает из-за невозможности примирить Евангеліе с міром, — никогда не погибнет духовно. Прислушайтесь к моим словам: наличіе страданій уже свидѣтельствует о

желанiи найти безспорную, ничѣм не смущаемую, не омрачаемую вѣру.

И правда! Возьмите простой примѣр: если Вы терзаетесь тѣм, что не можете довѣрять словам и поступкам человѣка, то вѣдь только в том случаѣ, если человѣк этот Вам дорог и Вами любим (иначе зачѣм же Вам и вѣра в него?). И с Господом Богом то же: раз мучаетесь, значит хотите, чтобы Он был Истиной и Жизнью для Вас. А в таком случаѣ и страха за себя быть не должно. Стоит только начать смиренно просить Его в молитвѣ о вѣрѣ — и Он даст вѣру.

Вы спросите теперь: «а как же просить, когда сомнѣнiя гонят молитву»? — А вот так и просить: «Вѣрую, Господи, помоги моему невѣрiю». А дальше сами увидите, каков результат будет.

И опять Вы спросите: а почему же кое-кто из «вдумчивой и честной молодежи» все-таки приходит к такому страшному концу, как самоубiйство? А потому, что когда наступает момент сознанiя своей полной умственной несостоятельности в дѣлѣ вѣры — не рѣшаются молиться, как дѣти, в простотѣ и бѣдности сердца. Увлекаемые злой силой, принимаются они строить свои «теорiи», создают свою «особую» вѣру, и т. д. Страшный путь! Он всегда приводит к катастрофѣ, если человѣк не бывает спа-

сен чьим-нибудь благотворным вліяніем.

Другое дѣло — сомнѣнія, которыя люди только из лукавства называют исканіями Бога и мученьями вѣры.

Одна моя знакомая, барышня-курсистка, спросила на исповѣди своего духовнаго отца: что ей дѣлать, чтобы пресѣчь свои мучительныя религіозныя сомнѣнія? Батюшка посовѣтовал почитать книги епископа Өеофана. Она промолчала, но больше к нему не пошла и с возмущеніем сказала мнѣ: «Хороши наши попы! Сами ничего не объясняют, а к другим отсылают». Я ее спросил: «Но вы все-таки книги то епископа Өеофана прочли?» — «Нѣт, — говорит, — и читать не стану! Все равно, я не пойму такія книги!» — «А почему вы знаете? Вѣдь епископ Феофан почти что наш современник и языком понятным пишет?». — «Не стану». — «Тогда как же, — говорю я, — рѣшились вы батюшкѣ о ваших якобы мученіях говорить! Хороши мученья, когда вы даже не поинтересовались заглянуть в мудрыя, успокаивающія книги, которыя, кстати сказать, так легко можно достать!»

Вот Вам два типа «сомнѣвающихся людей».

Один — с подлинными «мученіями», которыя сами по себѣ уже есть борьба за чистоту и цѣломудріе желаемой вѣры.

Другой — воспитывающій в себѣ сомнѣнія

лишь для того, чтобы с большим оправданіем перед собственной совѣстью оттолкнуться от вѣры... якобы разочаровавшись в ней. А на самом дѣлѣ, из лукаво-прикрытаго внутренняго протеста против «труднаго» пути вѣрующаго христіанина.

Разсказали Вы мнѣ о Ваших постах. Опять должен воскликнуть: умница мама! Как это она сумѣла вам, петербургским дѣвочкам, привить любовь к строгому выполненію постов! Вольнодумный интеллигент скажет: «Вам-то, г-н Сумароков, чего радоваться? Вы же не священник, а педагог?» Я и радуюсь, как педагог, предоставляя оцѣнку Ваших постов с духовной точки зрѣнія отцу Іакову. Молодец мама! Одним только этим она сумѣла удержать в своих дѣтях уваженье к патріархальной, воспитательно и поэтически осмысленной христіанской традиціи

Вы спросите: «причем тут поэтическая осмысленность такой традиціи?» А вотъ причем: все, что служитъ проявленіемъ просвѣтленнаго быта, должно быть цѣломудренно оберегаемо в жизни. Придетъ страшный моментъ, когда люди будут «обметать», «отряхивать» всѣ цвѣтѣнія в мірѣ по принципу практической ненужности их. И тогда жизнь станет «голой», уродливой, поэтически убогой.

Настанет время, когда мнѣ в классѣ подадут сочиненіе о «Дворянском гнѣздѣ» прибли-

зительно такого характера: «Дѣвушка Лиза полюбила пріѣзжаго из заграницы господина Лаврецкаго. И он ее полюбил. Когда она узнала, что он женат и имѣет ребенка, она ушла с горя в монастырь. Глупая дѣвушка? Какую еще характеристику ей дать?»

Конечно, глупая! И какой глупый писатель Тургенев, что взял такую фабулу!

Возьмите фабулу хотя бы и «Дворянскаго гнѣзда» без ея морально-художественнаго обрамленья, без всѣх деталей семейной, помѣщичьей, христіанской традиціи — и все будет казаться ерундой, не заслуживающей вниманія.

Вообще же говоря, не ерундой станет вскорѣ для людей только желаніе имѣть побольше денег, ѣсть, спать, занимать свое время различными увеселеніями, чтобы не скучать, получать как можно больше чувственных впечатлѣній. Если же таким будет жизненный идеал, то и всѣ средства к нему будут дозволены. Терять нечего!

Запомните: нарушеніе традицій просвѣтленнаго быта, осмѣяніе лирики жизни — ведет к опустошенію и к катастрофѣ молодыя души.

Избави Вас Бог от этого пути!

Впрочем, в такую опасность для Вас я мало вѣрю. И это не из вѣры в Вас, а в... Вашу мать.

Я не собирался быть для Вас моралистом, но что же мнѣ дѣлать, когда вопрошающій, до-

вѣрчивый взгляд, который должен был обратиться к о́тцу Іакову — внезапно обратился ко мнѣ, недостойному!

Я, как и Вы сами, думаю, что Вас потянет в чужіе края. Может быть, Вы навсегда покинете Россію.

Думаю, что ждут Вас большія трудности: борьба с жизнью, с самой собой, огорченія, паденья, моменты отчаянья, невѣрія в свои силы, принятіе каких-нибудь совсѣм несоотвѣтствующих Вашей натурѣ путей.

И все-таки — не бойтесь!

Смотрите, никогда не боритесь ни за успѣх, ни за карьеру, ни за богатство. Этот соблазнительный мусор ничего Вам не даст.

Случается иным людям беззаботно, самоувѣренно и весело прожить свою жизнь, но, слава Господу Богу, Он дал нам тяжкія болѣзни и — смерть. Тут уже ни на беззаботности, ни на жизненных удачах никак не выѣдешь!

Мнѣ не хотѣлось бы запугивать молодое и еще только-только прорастающее в мір созданье такими мрачными картинами. Но Вы поймете меня правильно. В этом убѣждает меня Ваш растроганный разсказ об Евдокіюшкѣ.

Тяжелыя болѣзни и смерть для нас, христіан, это — подлинная личная встрѣча с Христом, даже если мы не умѣли до того, в обычной нашей жизни, почувствовать Его присутствіе. Но я надѣюсь, что Вы встрѣтитесь с

Ним и раньше.

Сохраняйте, лелѣйте, любите в душѣ лирику Вашего и радостнаго и грустнаго дѣтства. Если сумѣете это сдѣлать — никогда не «опростите» до грубости, не окрадете своей жизни. Я подчеркиваю, что говорю Вам о лирикѣ, а не о сантиментализмѣ, — явленіи самовлюбленно-наигранном, и часто очень жестоком по отношенію к жизни. Впрочем, в нормальном, неискаженном дѣтствѣ не может быть и рѣчи о сантиментализмѣ, так как сущность дѣтскаго восприятія міра — искренность, правдивость и любовное отношеніе к тому, что окружает, а не слащавая рисовка перед собой и другими.

Просвѣтленная лирика приведет Вас к самому главному: поставит Вас в простотѣ ума и в умиленіи сердца на колѣни перед Творцом. А тогда уже не придется Вам «претыкаться» о сложные вопросы: как жить, как согласовать Евангеліе с міром, как воспринимать войну, нищету людей, болѣзни? Единственное положеніе человѣческаго тѣла, приводящее к благополучному и мудрому разрѣшенію этих мучающих голову вопросов, — на колѣнях перед Богом!

Когда Вы будете имѣть хоть маленькій духовный опыт, — то повѣрите правдѣ моих слов.

А об искусствѣ, которое, вѣроятно, станет зерном Вашей жизни, скажу Вам так: работай-

те, не лѣнитесь, чтобы данныя Вам от Бога дарованія нашли достойную, не неряшливую, не небрежную оправу. «Морали» в искусствѣ или в литературѣ спеціально не ищите: можете засушить этим свои творческіе порывы.

Но — не устану надоѣдать Вам все с тѣм же: сохраните подлинную лирику — и тогда все, что Вы будет дѣлать, будет одухотворено внутренней правдой, трогающей сердца других и поддерживающей творческую трепетность в Вас самой. А что может быть тягостнѣе в искусствѣ, чѣм блестяще «завоеванная» (вѣроятно, в угоду тщеславію!) внѣшняя форма — при наличіи полнаго убожества, поддѣлки, искусственности внутренняго содержанія.

Слѣдите за собой, работайте и... молчите.

Желаю Вам многое, многое повидать, многому доброму научиться, много перестрадать и вернуться душой — к своему дѣтству.

Ну, вот Вам и пространное сочиненіе на предмет прочтенія, обсужденія и... если возможно, памятованія на годы и годы.

Не поминайте лихом!

Ваш В. Сумароков».

Это письмо пришло с посыльным почти к самому моменту нашего отъѣзда. Я все-таки нашла время прочесть его в своей комнаткѣ, примостившись на сложенном и крѣпко стянутом веревками чемоданѣ.

Послѣднее напутствіе из покидаемаго навсегда Петербурга...

ОГЛАВЛЕНІЕ

ТОГО ЖЕ АВТОРА:

ДѢТСКИМИ ГЛАЗАМИ НА МІР

ПУТЬ ЧРЕЗ МІР.

Склад изданія:
Кіоск Каѳедральнаго Собора.
55, Рю Поль Анри
Шанхай.